

The background of the book cover is a collage of forensic and crime-related images. It includes a silver bullet casing in the top left corner, a red fingerprint in the middle left, a shattered glass fragment in the center, a black bullet casing in the lower center, and a red bloodstain in the bottom right. A yellowish, textured area is visible in the lower right, possibly representing a crime scene or a specific material. The overall theme is crime and investigation.

Александр Иванович Дедушка

Братья Карамазовы

Продолжерсия

16+

Александр Дедушка

Братья Карамазовы.
Продолжерсия

«Автор»

2019

Дедушка А. И.

Братья Карамазовы. Продолжерсия / А. И. Дедушка — «Автор», 2019

Все главные герои предыдущего романа вновь собираются в Скотопригоньевске через 13 лет. Алеша так и жил в нем все это время. Митя возвращается из сибирской каторги (вместе с ним приезжает и Грушенька), а Иван вместе с Катериной Ивановной - из Питера. За это время Алеша стал (вместе со своими "мальчиками") членом местной ячейки партии "Народная воля", Иван - тайным сотрудником царской охранки, а Митя - осведомителем. Интрига разворачивается вокруг приезда в Скотопригоньевск царя Александра Второго на поднятие мощей преподобного Зосимы и открытие нового вокзала на железной дороге, которую протянули от линии Питер-Москва.

© Дедушка А. И., 2019

© Автор, 2019

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	99
-----------------------------------	----

Иерусалим, иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!

се, оставляется вам дом ваш пуст.

Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 37-38

Мир устанет от мук, захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбой –
И поднимет к любви, к беззаветной любви,
Очи, полные скорбной мольбой!..

С.Я. Надсон

От автора

Вот мы и подобрались ко второму нашему роману, который я обещал читателям заранее, говоря им о том, что этот роман и является, то есть будет, главным. И опять я не могу обойтись без маленького предисловия, которое мне кажется необходимым, особенно, когда его задумываешь и пишешь, но, правда, часто излишним, когда уже написал. Боюсь, что и в этом случае получится то же самое. Но все-таки не откажу себе в удовольствии (лучше сказать – в необходимости) привести несколько вступительных слов.

Во-первых, сразу хочу извиниться перед читателями за то, что первый роман получился таким длинным. Я ведь и сам, когда задумывал его, не полагал, что он получится таковым, но когда уже сел за написание, то увлекся и, как говорится, понесло. Знаете, как иногда бывает? Сидишься за стол без особенного аппетита, но попробовал то, попробовал это, разлакомился, вошел во вкус – и уже трудно остановиться. Потом, когда сидишь с набитым желудком и несварением в нем, начинаешь себя корить: зачем, дескать, так объелся, ведь хотел только немного попробовать. Но все эти укоры и самосожаления похожи заляпанные за тем же столом салфетки – утерся ими, скомкал и выбросил – больше они ни на что не годятся и несварение не ликвидируют.

В свое оправдание еще скажу, что дело для меня оказалось новым, неизведанным, никогда я прежде не пускался в столь пространные описания, да еще и столь малознакомых мне учреждений и процессов, кои в них происходят. Я имею в виду нашу суды, судебную систему, предварительное следствие и проч., и проч... Признаю, что пересолил и невероятно затянул все свои описания и всякие в них подробности. Как высказался один очень строгий критик одного очень толстого журнала, что «автор, похоже, задался целью, чтобы читатели смогли после прочтения его романа сдать курс по основам юриспруденции». Право же, и в мыслях не было. Но в мыслях не было, а получилось на деле, а я-то всего лишь хотел, чтобы читатель лучше представлял все описываемые мною подробности, как говорится – «в живую». Мне и самому многое показалось интересным, тем более что я как-то в нашей романической беллетристике еще не встречал подробного описания судебных процессов, прений, и т.п., и т.д. Мне казалось, что и читателям все это покажется если не интересным, как и мне, то, во всяком случае, не лишним, ибо кому помешает в жизни та же юридическая осведомленность и подкованность? Но пересолил, пересолил, признаю. Впредь постараюсь быть более кратким.

Хотя вот написал и сразу усомнился. А усомнился потому, что мысленно представил себе перспективу предстоящего к написанию романа, и увидел там столько новых картин и столько

новых «учреждений», что, боюсь, меня снова может увлечь моя старая писательская страсть – писать как можно подробнее, чтобы «как вживую». Так что если снова случится что-то подобное – уж не судите строго. Хотя я уже и заранее надеюсь на читательскую снисходительность. Ибо тот, кто читает эти строки, уж наверно осилил наш первый роман, то есть, несмотря на все его недостатки и длинноты, нашел в себе силы дойти до его конца. Поэтому, имея такую закалку, и приспособившись к моей манере, я уж надеюсь, что у него хватит сил одолеть и второе наше повествование.

Обвиняли меня критики и даже отчасти читатели (хотя надо сказать, что больше критики, чем читатели) – что роман получился таким длинным, так как я «насовал» туда слишком много персонажей и разных сюжетных линий. Одна читательница, видимо, хорошая хозяйка, привела даже такое, хоть и огорчительное для меня, но очень точное сравнение, что мой роман оказался похожим на борщ не очень опытной поварахи, которая, желая сделать его повкуснее, наложит туда «всякой всячины», надеясь, что и будет «повкуснее», и варит потом долго-долго, думая, что и вкус как-то сам собой и установится. А вот это как раз и не всегда выходит, ибо вкус борща зависит не от времени варения и количества ингредиентов, а от искусства их сочетания и последовательности положения в тот же самый борщ. Принимаю и это и впредь поступаю уже так не разбрасываясь, а вести повествование ближе к моему главному герою.

Кстати, несколько слов и о нем. Вы, конечно, уже сложили свое собственное впечатление о главном моем герое (да и о любимейшем моем герое – хотя и не дело автора признаваться в любви к тем, кого он описывает, но я все-таки это сделаю, глядишь, строгий критик простит мне какие-то будущие недочеты в описании, особенно, если опять буду увлекаться). Имеется в виду Алексей Федорович Карамазов. Все-таки я слухавил, говоря в предисловии к первому роману, что мой главный герой – человек ни чем особо не замечательный. Человек он в высшей степени интересный и замечательный, но только в особом роде. Я опять в затруднении, ибо, боюсь, что начну сам себе противоречить. Пушкин говорил, что он «даль» своего «свободного романа» от начала «не ясно различал» и не мог представить, что его Татьяна выскочит замуж. (Кажется, он так и выразился – «выскочит замуж».) Но в том-то и дело, что его Татьяны и Онегины – это плоды его могучей творческой фантазии, и он все-таки, думаю, до известной степени мог с ними делать все, что ему угодно, все, что ни пожелает его художническая прихоть. А у меня – дело другое. У меня – живые люди, которых я описываю, но с которыми – как это ни удивительно приходится признать! – происходит нечто подобное. Или – нет, нечто совсем противоположное. Чем больше я в них вглядываюсь и пытаюсь понять, тем больше они мне кажутся не живыми людьми, а настоящими литературными типами и воистину художественными персонажами. И то, что они сделали в настоящей жизни – замечу, в их собственной наиреальнейшей жизни! – для меня все больше походит на воплощение какого-то неведомого (может быть, реально существующего, но в иных мирах) художественного романа.

Вот и с Алексеем Федоровичем тоже происходит что-то подобное. Хотя, скорее всего, это происходит только в моей душе, с которой он сроднился настолько, что я уже сейчас, еще только приступая к моему главному произведению о нем самом, потихоньку начинаю томиться предстоящей неизбежной разлукой, хотя и не знаю, когда она произойдет. В одном я все-таки оказался прав – и когда описывал события тринадцатилетней давности в судьбе моего героя, и события его настоящей жизни – о чем читателям еще предстоит узнать. А именно. Он действительно воплощает в себе, как я говорил, «сердцевину целого», что-то сущностное и главное, что, может быть, только рождается у нас сейчас в России, что-то такое, что определит ее судьбу, может быть, на десятилетия вперед. А может и на века – я поистине теряюсь тут в этих временных своих предположениях.

Ну, а раз теряюсь, то пора оставить наше, кажется, опять не очень уместное вступление и переходить к началу, а точнее, продолжению, нашего повествования.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Книга первая

Исправление судебной ошибки

I

Долгая кассация

Прежде чем мы перейдем к описанию нашего героя уже в настоящее время, никак невозможно не познакомить читателя, хотя бы вкратце, с событиями, которые случились за эти истекшие тринадцать лет. Тем более что многие из этих событий сами по себе вполне заслуживали бы пристального внимания романиста и описателя, и только по недостатку времени и обещания, которое я уже сделал – быть по возможности более кратким, чем в первом нашем повествовании – постараюсь дать только самое главное из того, что читателю необходимо узнать. Иначе опять же – увы, многое окажется непонятным.

От времени, которое завершилось судом и осуждением на каторгу Дмитрия Федоровича Карамазова, когда мысленно возвращаешься в него, до сих пор остается ощущение какой-то бестолковщины и сумбура. Хорошо помню впечатление почти мучительной «невозможности» всего случившегося. Наша либеральная публика и все иже им сочувствующие были так уверены в оправдательном приговоре, так загипнотизированы именем Фетюковича, «знаменитейшего петербургского адвоката», что долгое время словно отказывались «верить глазам своим», точнее, «ушам», через которые мы все и выслушали этот потрясший нас обвинительный приговор. Была даже такая уверенность у преимущественно женской части общества, что это был «заговор», что все было «инсценировано» и «срежиссировано» заранее, а суд – это был не более чем «фарс» или хорошо отрепетированная «пьеса». И хотя никаких доказательств постановки этой «пьесы» представлено не было, да и быть не могло – так как большинство из «зрителей» этой «пьесы», присутствовало на всех актах ее постановки, и уж могли убедиться в непредусмотренности всего происшедшего в зале суда – все это мало кого успокоило и убедило. Разговоры о «несправедливости» долго сотрясали все более или менее приличные гостиные нашего Скотопригоньевска и – где там! – далеко перехлестнулись за границы нашего городка – в губернию, дошли и до двух наших столиц.

Первыми, на ком отразилась эта почти всеобщая уверенность в «несправедливости», была бедная коллегия присяжных. Многие наши дамы чуть не переписали себе весь список присяжных заседателей, разузнали их адреса, и некоторые даже не погнушались нанести, как они их назвали, «визиты справедливости». Правда, немногие из тех, кто на это решились, потом не пожалели об этом. Ибо мужички и здесь, как мы уже об этом упоминали, «за себя постояли». Одной такой даме в простой крестьянской избе, говорят, оборвали роскошный хвост ее платья, который она, гнушаясь окружающей грязи, держала в руках, на манер римской тоги. Другой наш купец так ничтоже сумняшеся просто выставил незадачливую посетительницу за дверь – буквально вынес на руках визжавшую, думаю, более от страха, чем от обиды, поборницу справедливости. Так постепенно все эти визиты и преследования присяжных сошли на нет, хотя и добавили огоньку в обличительные разговорные «костры», долго не затухавшие в связи с этим «шумным» делом в гостиных у образованной публики. Все о «тупости и неразвитости наших низших сословий». Причем, интересно, что если раньше недовольство в основном проявляла женская половина нашего общества, со временем – то ли под влиянием своих неугомонных половин, то ли потому, что до мужчин истина всегда «туго доходит» – и наша мужская часть «благородного общества» стала все резче выражать свое недовольство. Дело доходило даже до прямых сцен. Нашему прокурору Ипполиту Кирилловичу так однажды прямо заявил один либеральный чиновник (о нем еще речь впереди), что он «лакейски послужил делу реакции». Доставалось пару раз и председателю суда – что-то похожее на «фронду»

от нашей образованной публики – его пару раз не приняли, когда он наносил свои обычные визиты.

Однако дальше произошло малообъяснимое. Казалось бы, на такой обличительной волне нужно добиваться пересмотра дела и отмены приговора, но случилось нечто совсем обратное ожидаемому. Волны возмущения ещё долго ходили по поверхности Скотопригоньевской либеральной публики, но ни во что конкретно, что реально могло помочь «невинно пострадавшему» Митеньке Карамазову, это ни вылилось. Странно, но даже было ощущение, что многие в глубине души вполне довольны таким исходом и такой «несправедливостью», ибо она давала повод выплеснуть недовольство «существующими порядками», а если бы вдруг по мановению чьей-то волшебной палочки, всё изменилось, и Дмитрий Федорович был бы немедленно оправдан, уверен, многие были бы недовольны. Куда девать тогда «благородное негодование» к «прогнившему режиму»? Судьба живого человека за всеми этими страстями, кажется, никого не волновала.

Но это все было бы ладно: все-таки публика есть публика – какой с нее спрос? Сложнее объяснить поведение лиц, кто по долгу службы должны были бы взять исправление, как было признано позже, «судебной ошибки». Наш прославленный и так неожиданно «разбитый» Фетюкович, вместо того, чтобы дождаться всех формальностей и подать апелляцию, на следующий же день укатил обратно в свои столицы – обиделся «как строптивая барыня», говорили у нас. И когда его там нашла Катерина Ивановна и «уговорила»-таки начать кассационный процесс, время, отпущенное на подачу обжалования, уже было упущено. Я не зря взял слово «уговорила» в кавычки. Мне рассказывали, что она буквально «укусила» строптивного адвоката – да-да, впилась ему в палец – и только после этого он согласился снова вернуться к процессу. У меня, правда, есть все основания сомневаться в этой истории, хотя я ее и слышал от разных и не связанных между собою лиц. В самом деле, ну с чего бы это Катерине Ивановне с ее воспитанием и манерами опускаться до такого странного поведения – вести себя как капризной истерической девчонке? Просто не могу себе представить ее в этой унижительной и глупой роли, даже несмотря на всё то, что мы о ней знаем из нашего первого повествования. Но не будем ничего утверждать однозначно – действительно, все может быть, особенно когда мы говорим о таких неоднозначных сильных натурах и характерах.

Ведь собственно только благодаря ей – ее настойчивости и колоссальным усилиям – дело Митеньки, наконец, пошло на лад, было обжаловано и, в конце концов, пересмотрено. И ее вины в том, что это не произошло сразу, нет никакой. Почти месяц у нее на руках между жизнью и смертью находился больной Иван Федорович Карамазов – тут уж не до убежавшего в столицы Фетюковича. А только он стал более менее выздоравливать и перестал балансировать между жизнью и смертью – новая напасть. Дмитрия как раз начали готовить к отправлению по этапу. Катерина Ивановна вся вложилась в подготовку его побега, что было, как вы сами понимаете, очень и очень непросто. Пользуясь советами полубольного Ивана, она несколько раз ездила по предстоящему Дмитрию этапу, доехала до самого Омска и там уже смогла наладить необходимые и вполне конспиративные связи. А когда Митеньку уже в начале лета отправили-таки вместе с первой партией прибывших из Санкт-Петербурга каторжников, отправилась и она вместе с ним по этапу. Где-то уже в дороге нагнал их и полностью выздоровевший Иван, которому нужно было зачем-то обязательно побывать в нашей Невской столице, а потом и в первопрестольной. И только, когда неожиданным и абсолютно невероятным и непредвиденным способом побег Митеньки сорвался (об этом рассказ в свое время), Катерина Ивановна, переехав вместе с Иваном в Петербург, нашла Фетюковича и стала добиваться оправдания Митеньки легальными способами.

Думается, на Фетюковича повлиял не только и не столько укус Катерины Ивановны (если таковой и имел место быть), но и соответствующее денежное обеспечение, а может быть, и то и другое – как и разгоревшееся, наконец, желание «реванша» и восстановления своей попорченной

репутации. Но время для подачи обжалования, обговоренное законом, было упущено, поэтому для возобновления дела ему пришлось искать весомые формальные основания. Первое, за что он зацепился, это одна юридическая неувязка, по недосмотру вкравшаяся в судебное заседание. Врачи Варвинский и Герценштубе согласно Уставу уголовного судопроизводства не могли быть опрошены и в качестве экспертов, и в качестве свидетелей. Тогда, в суматохе суда, на это никто не обратил внимание, да и самому Фетюковичу это вряд ли бросилось в глаза, но теперь – а он все-таки был неплохим юристом – это обстоятельство выглядело весьма весомым поводом к обжалованию приговора. Но не все оказалось просто. Фетюкович не стал подавать официальный запрос, решил сначала проконсультироваться – и правильно сделал. Так как в «высших сферах» ему намекнули, что его инициатива по облегчению участи Дмитрия Карамазова, об обстоятельствах неудавшегося побега которого, разумеется, уже стало известно, никак не будет воспринята благосклонно. И что, ежели он желает покойного продолжения своей карьеры, то инициативы такого рода лучше оставить, так как всегда можно найти возможность усложнить жизнь даже и такому «свободному» адвокату, каким он является... – и проч., и проч. В общем, аргументы оказались весьма убедительными для Фетюковича, чтобы он отказался от своего намерения по пересмотру дела Митеньки. Он долго тянул с ответом Катерине Ивановне, но, в конце концов, был вынужден ей признаться во всех этих «неблагоприятных обстоятельствах». Однако это не остановило последнюю, напротив, вызвало новую волну её «яростной активности». В это время Катерина Ивановна, несмотря на то, что уже стала женой Ивана, часто навещала Дмитрия Карамазова в Омском остроге, а порой надолго останавливалась в Омске, наладив какие-то непонятные связи с тамошним обществом.

Итак, она снова приезжает в Петербург, находит Фетюковича и снова настаивает на пересмотре дела. Какие аргументы она применила на этот раз, доподлинно неизвестно, но Фетюкович согласился еще раз «попытать счастья», и на этот раз повел дело так, что оно завершилось неожиданным успехом. Он решил действовать «от обратного». Раз уж желание облегчить участь Дмитрия Карамазова никак не вызвало сочувствия в «высших сферах», то противное намерение, возможно, будет иметь большие шансы на успех – так он предположил и не прогадал. Да и вторая юридическая неувязка, за которую он зацепился, выглядела куда более весомо. (Я опять извиняюсь перед читателями за погружение их в юридические тонкости – обещал же этого не делать. Но вкратце все-таки сказать об этом надо – уж простите и на этот раз.) Так вот. Оказывается, Дмитрий Карамазов, который обвинялся в убийстве отца и был признан виновным по всем пунктам, по действовавшему Уголовному законодательству должен был быть приговорен к пожизненной каторге. Каторга на срок могла быть лишь в случае, если бы выяснились по ходу дела и были учтены судом какие-либо смягчающие вину подсудимого обстоятельства. Но таковых обстоятельств не было, а значит, приговор был заведомо в виду своей непредусмотренной законом мягкости неправомерен. И на этот раз Фетюкович попал, что называется «в струю». Когда он еще раз проконсультировался по этому поводу: мол, намеревается исправить вопиющую «юридическую несправедливость», дескать, дискредитирующую все судопроизводство в России, тут – хоть и удивились такой странной «прокурорской» прыти знаменитого адвоката – но пошли ему навстречу. Фетюкович подал официальный запрос, дело было кассировано и передано на повторное рассмотрение.

Бедный Дмитрий Федорович к этому времени уже три года, как звенел кандалами в Омском остроге.

II

завещание федора Павловича

Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению этого процесса, изобиловавшего весьма неожиданными и пикантными подробностями, следует сказать еще об одном деле, что произвело много шума в нашем Скотопригоньевске и которое к рассматриваемому нами делу имеет,

хоть и не совсем прямое, но все-таки важное отношение. Я имею в виду завещание покойного Федора Павловича и то, как оно было исполнено.

Надо сказать, что похоронили Федора Павловича как-то почти до неприличия поспешно и словно бы чего-то стыдись. Впрочем, как и положено, три дня перед погребением были выдержаны, но все равно осталось впечатление, как выразился один очевидец, «чего-то грязновато-стыдливого», впечатление, от которого хотелось поскорее отделаться. Особенно это проявилось на панихиде уже после похорон, где приглашенные гости упились почти до неприличия. Среди этих гостей оказалось много совсем уж непонятной и даже действительно прямо неприличной публики, ибо сумбур был в самой организации похорон, которыми занимались то ли Алексей Федорович, то ли Катерина Ивановна, то ли даже еще кто-то – а у семи нянек дитя, ведь, как известно, без глазу. Эти непонятные гости не знали, как себя вести и что, собственно говорить. Ибо все помнили известный принцип: о мертвом или ничего или только хорошее, но что сказать хорошего о «таком человеке» никто не находил. Впрочем, запомнилась речь Ильинского батюшки, отца Вячеслава, который специально приехал на похороны из Мокрого, что, мол, Федор Павлович пожаловал ему на новую ризу, и в доказательство этого он раздвинул полы своей уже, впрочем, далеко не новой ризы и зачем-то даже потряс ею с таким видом, что сейчас из нее что-то должно как бы и высыпаться. Что должно высыпаться – было непонятно, да и рассчитывал ли на этот эффект сам батюшка – тоже, но впечатление почему-то получилось именно такое, и какое-то даже болезненное, так как после этого гости с еще большим остервенением накинудись на водку и закуски, словно от досады заедая и запивая то, что нельзя было высказать.

Как известно, Иван Федорович на сами похороны не успел, но именно с его приездом и началась «катавасия», связанная с завещанием старика Карамазова. В суматохе похорон о существовании этого завещания никто не подумал – да и не до этого было. Кроме того завещание хранилось в той самой «шкатунке» Федора Павловича, о которой упомянул Смердяков в последнем разговоре с Иваном (читатель должен это помнить), но от нее никто не удосужился поискать ключа. Смердяков, как мы помним, был уверен, что никакого завещания не существует, но он ошибался – некоторые дела Федор Павлович все-таки умел делать и без посредства Смердякова. А ключ от этой самой «шкатунки», оказывается, хранился в старом халате Федора Павловича (убили его в новом, что он одел, ежели вы помните, специально для Грушеньки), халате, на который никто не обратил внимание и который валялся на стуле рядом с его кроватью вплоть до приезда Ивана. Именно Иван Федорович нашел этот халат, а в нем ключ и отпер заветную «шкатунку», где среди некоторой суммы денег (небольшой впрочем – что-то около нескольких сотен, ибо старик хранил главные свои суммы в банке) нашлось и завещание. Иван Федорович, ознакомившись с ним, специально пригласил на его оглашение кроме родственников – нотариуса, старшего чиновника паспортного стола господина Сайталова, еще несколько человек, среди которых совсем уж неожиданным оказалось приглашение духовных лиц – игумена монастыря, а также отца Паисия и отца Иосифа, монастырского библиотекаря.

Не читали – веселились, прочитали – прослезились, право же, эффект прочтения был равен эффекту взорванной бочки пороху. Там среди нагромождений слащавой словесной витиеватости, ибо Федору Павловичу зачем-то вздумалось имитировать слог средневековых летописей и житий, в сухом остатке значилось, что 100-тысячное свое наследство он повелевает распределить следующим образом: половину, то есть 50 тысяч, отдать Ивану, как кровному наследнику, а вторую половину он завещает нашему монастырю. Более никто в завещании не упоминался. Что ж – с Дмитрием Федоровичем, кажется, понятно, а с Алексеем Федоровичем – видимо, старик рассчитывал, что его младший сын станет монахом, а монаху, известно, какое наследство! Собственно, он тем не менее его сделал – завещав 50 тысяч монастырю, это как бы и Алексею Федоровичу тоже. Об этом и было написано, но очень витиевато и закручено – что-то: «благообразнейшему и боголюбивейшему сыну моему многолюбезному Алексею, облача-

ющемуся в ангельский образ еще при жизни этой мерзейшей, деньги эти чтобы не послужили во соблазн и сатанинское уклонение, но чтобы он яко негасимая свечка пред око Божие горел пламенем любви к отцу своему чадолюбивому и не преставал возносить молитвы за его многорешную душу...» и проч., и проч. Дом, кстати, тоже доставался Ивану Федоровичу.

Но это было все ладно – собственно, старик как в воду глядел, что обойденному наследством Дмитрию Федоровичу, оно и не будет полагаться никоим образом в виду его каторжного состояния. Удивительно было другое – что и вызвало столько сумбура и несогласия – то, что Федор Павлович выдвинул в своем завещании «непременные» условия, только в случае соблюдения которых упомянутые 50 тысяч и перейдут к монастырю. А именно – он должен быть похоронен на монастырском кладбище, то есть в самом монастыре, внутри его ограды, а во-вторых – на его могиле должны постоянно гореть «неугасимая лампада» и читаться «неуспаемая псалтырь». Остается только гадать, откуда он набрался таких слов (понимал ли он их точный смысл – тоже вопрос), но самое главное – это все было серьезно или нет? Неужели старый развратник действительно решил глубоко озаботиться посмертным состоянием своей души? Или просто неисправимый шут решил насмеяться над верой и монастырем и после смерти, как это делал при жизни? Чтобы уже, так сказать, и в посмертном состоянии своем, досаждал монахам своим постоянным присутствием в их жизни и издевался над ними уже, как говорится, «до скончания века»?

Я не присутствовал при чтении завещания, но, как мне рассказали, отец Паисий даже вышел «в великом гнев» из комнаты, где оно читалось. Дело, действительно, представлялось неслыханным. Наше монастырское кладбище – это, правда, было что-то в своем роде умиленное и священное. Оно было небольшим, начиналось сразу за главным собором, отделялось от него небольшой оградкой и тянулось вплоть до монастырской стены. Летом, утопавшее в зелени, оно и зимой представляло собой торжественное и благодатное зрелище, где по небольшим аллеям, заботливо расчищенным монахами, любили прогуливаться самые благочестивые наши горожане и приезжие в ожидании литургии, всенощной или аудиенции у игумена. Среди скромных могилок рядовых монахов было несколько могил и знаменитых в прошлом архиереев. Могила одного из них – владыки Иеремии – с большим мраморным надгробием особенно почиталась, так как именно он еще в прошлом веке способствовал расцвету монастыря, когда он стал известным не только в нашей губернии, но и далеко за ее пределами. Да, здесь было несколько мирских захоронений, но они были сделаны еще в прошлом веке, когда монастырь только развивался и, кажется, не существовало строгого запрета на такие захоронения мирских людей внутри монастыря. Во-вторых, это действительно были не только подлинники благотворители, но и глубоко верующие люди, в чьей высокой и подлинной нравственности не было и тени сомнения. Один из них – екатерининский генерал, сражавшийся под знаменами Румянцева и Суворова, после отставки проживавший неподалеку в своем имении и оставшись бездетным, пожертвовавший все свое имущество монастырю. Другой – знаменитый архитектор, по плану которого и был выстроен еще в прошлом веке главный монастырский собор. Видимо, Федор Павлович знал об этих захоронениях заранее, поэтому, имея такой повод, и решился на эту, как бы поточнее выразиться, посмертную наглость.

Но каково!?! Говорят, если отец Паисий вышел из комнаты, то отец игумен вместе с отцом Иосифом просто рассмеялись. Они не могли поверить, что это все серьезно – но напрасно, напрасно, судя по тем событиям, которые потом стали развиваться вокруг этой истории. Весть о завещании Федора Павловича мгновенно разнеслась по городу. Вот уж было кривотолков, возмущения, смеха, даже кощунственного хохота, но самое главное – какого-то глумливого ожидания. Все как будто были уверены, что должна случиться какая-то, как выражались, «очередная мерзость», но вместо того, чтобы что-то предпринять, чтобы она не случилась, с несомненным тайным злорадством и сладострастием стали ожидать ее. И если бы она не случилась, то, пожалуй, были бы очень недовольны. Интересно, как к этому заве-

панию отнесли в самой карамазовской семье, точнее, в той части, что от нее осталось – а именно между двумя родными братьями. Алеша словно был оглушен и придавлен всем тем, что слышал – он не проронил ни слова и во все последующее время, когда события стали раскручиваться и развиваться, только становился мрачнее и мрачнее. А вот Иван Федорович – и это было даже удивительным – проявил невиданную настойчивость в том, чтобы завещание не только было исполнено, но исполнено самым тщательным и буквальным образом, выступив в роли «гаранта» его исполнения и угрожая даже судебными преследованиями, если оно не исполнится. В самом монастыре, когда весть о завещании Федора Павловича дошла и туда, поднялся чуть ли не бунт. Абсолютное большинство монахов оказалось резко против подобного захоронения, и еще больше против «неугасимой лампы» и «неусыпаемой псалтыри». Последняя почему-то особенно всех возмутила. Больше всех неистовствовал Ферапонт, наш знаменитый впоследствии, да уже и в то время все более почитаемый отшельник и изгнатель бесовских духов.

– Блудницу вавилонскую под стены!?!.. Пить мерзости ее блудодеяния!?!.. Могилой сей загугнявится земляца монастырская!.. Отхожее место будоти! Будоти!.. – то и дело вопил он не своим голосом, потрясая посохом, и действительно внушая ужас одним своим видом и громовыми интонациями. – Мерзость запущения!.. Мерзость запущения!..

Но если эти эскапады и могли кого испугать, но только не Ивана. Тот приступил, как он это называл, к «методической осаде». Во-первых, написал в епархиальное управление жалобу на «самоуправство» нашего монастырского начальства. Затем выступил с разгромной статьей в наших губернских ведомостях. Эта газета у нас в полном соответствии с «требованиями времени» имела либеральное направление, хотя и тут не обошлось без значительного денежного вспоможения. Статья называлась «Должны ли монахи молиться за грешников?», само ее содержание было посвящено доказательству этого провозглашенного тезиса и своим резким тоном она произвела немало шума. Мало того, Ивану Федоровичу удалось склонить на свою сторону часть нашего городского начальства, и даже городской глава, чтобы уж совсем не выглядеть ретроградом, стал в частных разговорах склоняться на «карамазовскую сторону». Кроме этого, даже в столичной либеральной печати (говорили, что к этому руку приложил уже известный читателям Ракитин) разгорелась дискуссия о «лицемерии» монашеского сословия. В конце концов, дело завершилось приездом в наш монастырь самого преосвященного – владыки Захарии, нашего главного губернского архиерея. К этому времени «бунт» в монастыре достиг таких размеров, что часть монахов собралась покинуть его стены и уже подала об этом прошение владыке.

Владыка Захария уже более десяти лет руководил нашей епархией. Это был очень крупный, но и очень болезненный человек, не проживший и пары лет после этих событий. Он целую неделю жил в монастыре, то и дело принимая делегации «заинтересованных сторон», среди которых вместе с Иваном он принял как-то и бывшего слугу Федора Павловича Григория. Тот уже в который раз твердо и однозначно, как это делал и при его жизни, стал на сторону убитого барина, повторяя неоднократно загадочную, твердую, словно отлитую из свинца фразу, на которые он был мастак:

– Федора Павловича, убиенного невинованно, долгом довести полагается до точки спасения.

Каким долгом, кому этот долг вменяется, и что такое «точка спасения», он, разумеется, пояснять не стал, полагаю, и сам себе затруднился бы дать точное объяснение, но фразу эту он повторял неоднократно и, разумеется, перед владыкой тоже. Кстати, после посещения владыки Захарии он тоже изрек уже с какой-то задумчивостью и как бы колеблясь:

– Господь управит пастырей Своих претыкающихся и овец им противящихся...

И «Господь управил»... Но сначала владыка Захария имел продолжительную беседу с ярящимся Ферапонтом. Тот после более чем часовой аудиенции у владыки, вышел от него, ни

на кого не глядя, что-то бормоча себе под нос, но уже без громовых заклинаний и потрясения посохом. Говорили, что он на целую неделю потом заперся в своей хибарке, откуда по ночам доносились звуки, напоминающие рыдания. А сам владыка через неделю своего пребывания в монастыре в воскресный день, после литургии, обратился к братии:

– Отцы, что это вы так искусились?.. Тела брэнного испугались?.. Где же вера ваша? Неужто тело мертвое вас так смущает, что вы готовы бежать, куда глаза глядят? Али Сам Господь не сказал, что только по любви признает он нас Своими учениками? И где же любовь ваша? Какое смущение производите вы мирянам? Разве не должны вы носить бремена их, разве вы не должны молиться за них – для чего вы ушли тогда от них? А за мертвых – и тем паче. Или не знаете отеческих писаний, как многих заблудших вымаливали молитвы монастырские?..

Владыка чуть перевел дух и сморщил лоб, пытаясь оттянуть вверх тяжелые, налитые водой веки (у него были больные почки), которые, даже видимо было, как давят ему на глаза.

– Или говорите, что грешником большим был. А кто из вас дерзнет себя не назвать грешником? Или вы не должны за грешников молиться, а только за праведников? Они и без ваших молитв обойдутся – на то и праведники. Или и вашей нет вины в том, что убиенный не был благочестив? Кто из вас молится за него? Кто из вас полагал за него душу? Кто из вас слезы проливал за его многогрешие? И вот умер – не просто умер, а убиен, ведь тогда и кровью своею смыл же часть грехов своих – а вам и это на душу не ложится. Ведь он ясно указывает в завещании своем, что хотел бы лежать в монастыре, чтобы молились за него и помогли вымолить душу его. Он же словно предвидел кончину свою... (На эту фразу, Иван, находившийся в храме, и стоявший чуть в отдалении, странно дернул головой – как бы нервное, что исказило и лицо его.) И если Господь дал ему это предчувствие, то не ненавистен же он был Богу нашему. Вы – кто такие, что ставите себя выше Бога? Кто дал вам право судить и миловать? Кто дал вам право вмешиваться в посмертную волю, выполнить которую всегда считалось первейшим долгом всех остающихся живых? Или не учил вас и старец недавно скончавшийся, повторяя слова Спасителя, чтобы вы не судили никого, а напротив, винили себя за все и все покрывали любовью и смирением?..

Владыка, скорее всего, намеренно упомянул о старце Зосиме. Не мог он не знать о том, что тот при жизни вызывал разного рода кривотолки и разделения в самой монастырской братии, а вот после смерти как будто объединил всех, но только в ненужном направлении. Действительно, против захоронения Федора Павловича выступили единым фронтом все бывшие «враги», если так можно выразиться, во всяком случае, такие противоположные типы как Ферапонт и отец Паисий. Обращением к памяти «почившего в Бозе» святого старца должно было убрать это знамя, точнее направить его в нужном направлении. Как, если бы старец был еще жив, то не стал бы противиться захоронению, ибо видел бы в этом последнюю дань любви убиенному, пусть грешнику, но не лишенному тоже дани христианской любви. И, похоже, это обращение к памяти святого старца сыграло свою роль. Начинали слушать речь владыки монахи с хмурыми, даже, казалось, озлобленными лицами. Никто не смотрел в лицо архиерею, а из под нагнутых к земле монашеских шапочек, мантий и куколей схимонахов – водили глазами по замощенному неровными узорчатыми плитами полу храма, или куда-то за владыку – в пророческий ряд иконостаса. Но со словами о старце в лицах словно что-то потеплело, не скажу у многих, но хотя бы у некоторых монахов.

Владыка еще какое-то время продолжал свои увещевания, правда, все с большим и большим трудом преодолевая одолевавшую его болезненную немощь. А в конце еще раз упомянув о «спасительном смирении» и монашеском обете послушания, своей архиерейской властью повелел всем не противиться исполнению завещания. Иван намеренно одним из первых подошел под его благословение, вопреки монастырской традиции, когда миряне подходят к архиерею только после всех благословившихся монашествующих. Нервная его реакция на слова владыки объяснялась следующим довольно странным обстоятельством. Оказывается, Федор

Павлович отнес свое завещание на утверждение к нотариусу буквально на следующий день после приезда Ивана к нему. Это не сразу выяснилось. Сначала все посмотрели на дату завешения нотариусом подписи завещателя, и вдруг сам Иван во всеуслышание и заявил, что он подтверждает эту дату, так как, мол, приехал накануне. Мог бы, наверно и не говорить, но зачем-то сказал, хотя знал, что это не будет ему на пользу, а вызовет непременно кривотолки. Ведь действительно, странно как-то получается, с чего бы это старику на следующий же день после приезда давно не виденного сына, отправляться заверять завещание? Может, и впрямь что-то почувствовал – и когда владыка сказал об этом, это и вызвало нервную и явно болезненную реакцию у Ивана. Отсюда, кстати, может, и началась его первоначально долго таящаяся болезнь, которая завершилась почти полным безумием и катастрофой во время суда.

Итак, что касается нашего дела, то через полтора месяца после своего убийства Федор Павлович был перезахоронен и перенесен с городского кладбища на монастырское. И упокоился он, наконец, рядом... С кем бы вы думали? Да-да – есть чему удивляться! Рядом с незабвенным нашим старцем Зосимой!.. Да, так и оказались рядом два таких противоположных типа – разве можно было бы представить это заранее? Старец Зосима выбрал себе местечко для упокоения еще заблаговременно. Он почему-то намеренно не захотел упокоиться на скитском кладбище, что, казалось, ему и следовало бы сделать. Ведь со времени основания скита все подвизавшиеся в нем старцы и отшельники там и находили себе последний приют. Но старец Зосима выбрал себе место упокоения на территории самого монастыря. Оно находилось в самой дальней части монастырского кладбища, уже непосредственно у монастырской стены, сложенной в этом месте из рыхлого, источенного временем и мышами песчаника. Алеша еще при жизни старца несколько раз помогал ему прийти сюда и потом, после молитвы, уводил его обратно. А в отсутствие старца – следил за этим местом – под раскидистой дуплистой ветлой, чтобы оно не зарастало крапивой и лопушником. Федора же Павловича сюда определил сам владыка Захария. Он, видимо, руководствовался мотивом – «чтобы не бросалось в глаза» – и повелел определить ему место там, где мало кто бывал из приличной публики. Когда ему сказали, что там уже упокоился преподобный старец, даже рассмеялся, впрочем, как-то грустно, и добавил:

– Большой святости был человек, молиться призывал за всю тварь, всех грешников, даже самоубийц дерзал не лишать сей милости. Вот теперь пусть и покоятся вместе, а святой старец, глядишь, не оставит своим вниманием и любовью, как и учил ранее, – будет вымаливать у Бога прощения сей многогрешной душе.

Владыка Захария, говорят, знал Федора Павловича лично; он, еще будучи в епархиальном управлении в подчинение у предыдущего владыки, сталкивался с имущественными и семейными делами старшего Карамазова, когда улаживались дела с передачей его детей под опеку теткам Миусова. Знал он естественно и старца Зосиму. Правда, злые языки говаривали, что владыка Захария не входил в круг почитателей старца и старческого явления как такового. И теперь не то, чтобы «отомстил», а как бы «показал место» старцу. Уже позже молва донесла его отзыв, что хорошо было бы сделать традицией подобную практику: самых молитвенных и «святых» монахов хоронить рядом с самыми большими грешниками – очень назидательно получится. Это у Бога каждая душа на своем месте и в своем ранге будет, а на земле, своим прахом – все должны быть равны – святые и грешники. Да и люди, ходя на могилки к святым людям, глядишь, не забудут помолиться и о лежащих рядом грешниках. Одним в утешение, другим в назидательную память. Так и легли рядом по обе стороны от ветлы святой преподобный старец Зосима (а мы еще до канонического прославления уже дерзали называть его святым) и убиенный Смердяковым старик Карамазов. Единственное, что не удалось продать Ивану, выполняя завещание отца своего, – это «неугасимую лампадку» и «неусыпаемую псалтырь». Владыка сослался на канонические правила и прещения: мол, лампадка положена только монахам, а неусыпаемую псалтырь вообще читают только по строго определенной кате-

гории официально прославленных Церковью святых (мученикам, преподобным, основателям монастырей и т.д.). Так что Иван вынужден был отступить, добившись главного и посчитав благоразумным не вступать в пререкания по этому поводу. Впрочем, владыка сказал, что никто не мешает зажигать лампадку на могилке и читать ту же псалтырь по «убиенному родителю» в частном порядке.

Пару слов нужно сказать и об упомянутом вскользь Смердякове, точнее, и о его могиле, так как тут тоже вышла своего рода загадочная, даже несколько мистическая история. Федор Павлович оказался положенным рядом не только со старцем Зосимой (о чем, чисто теоретически, он мог предполагать, когда составлял свое завещание), но и со своим незаконным сыном, главное – со своим убийцей Смердяковым. Вот это-то ни при каком раскладе не могло прийти ему в голову, как, впрочем, и всем нам, бытописателям и сторонним наблюдателям. Они оказались разделенными только одной монастырской стеной. Смердяков был похоронен сразу же за ней на территории уже городского кладбища. Все дело в том, что сразу за этой каменной монастырской оградой начиналось это самое городское кладбище, точнее, оно там заканчивалось. И вот в этой части кладбища, самой глухой и заброшенной, прямо у монастырской ограды и оказался похороненным Смердяков, отделенный от могил старца Зосимы и своего родителя только этой самой каменной кладкой. Те, кто выбирали ему место для погребения, руководствовались тем же принципом, что и владыка Захария – подальше с глаз долой. Хоронили его за городской счет – Мария Кондратьевна и ее мать наотрез отказались забирать тело после всех необходимых следственных процедур, говорят, чуть ли не проговорили ту же фразу, что и Митенька на суде: «собаке собачья смерть», что тогда выглядело довольно странно – ибо Смердяков у них жил, все думали, на правах жениха. Впрочем, на втором процессе все прояснится – но об этом речь еще впереди. Итак, Смердякова засунули в примыкающую к монастырю самую глухую часть городского кладбища, где хоронили только бродяг, околевших безродных нищих, самоубийц, а также умерших или казненных преступников – такое редко, но в прежние времена случалось в нашей городской тюрьме. И все-таки справедливости ради нужно сказать, что те, кто определял здесь место для подобных типов, видимо, руководствовались неким религиозным чувством – все же поближе к монастырю, авось их душам будет полегче, да и монахи нет-нет, да и помолятся за таких погибших. Кстати, еще в прошлом веке, в той же самой каменной стене, сюда на городское кладбище вели небольшие ворота, которые уже давно были заложены тем же самым песчаным камнем. Очертания этих ворот до сих пор сохранились и легко просматривались под низкой арочкой, сразу за ветлой, у которой были похоронены старец Зосима и Федор Павлович. С обратной стороны – уже чуть похуже, так как тут было полной буйство зарослей бузины и выродившейся малины, имевшей здесь странно горчащий, а иногда даже прямо горький, вкус. Сюда-то и приткнули могилку Смердякова, не поставив над ней креста, а только табличку с фамилией и датами рождения и смерти. Крест над ней со временем появится, станет предметом нового всплеска активности нашей либеральной Скотопригоньевской публики, но об этом мы пока опустим – надеюсь, со временем найдем место в нашем последующем повествовании.

III

наконец оправдали

Теперь нам пора продолжить историю долгого судебного мытарства Дмитрия Федоровича Карамазова, как он, наконец, был оправдан на повторном процессе, состоявшемся через три года после его осуждения. Я постараюсь не утомлять больше читателей разными процессуальными и юридическими подробностями, хотя, право же, иногда очень тянет, так как и на этом процессе было много занимательного и даже выдающегося в своем роде, о чем толковали не только в нашей местной, но даже и в столичной печати.

Первоначально повторный процесс планировали провести в закрытом режиме – но вмешалась наша общественность, посыпались жалобы в губернию и даже угрозы «дойти до столиц», и разрешение на «открытость» было получено. Еще какое-то время заняло утрясание разного рода юридических нюансов в связи с отсутствием обвиняемого – это тоже вызвало продолжительную бюрократическую переписку между различными инстанциями. Но вот, наконец, процесс открылся. Сторону защиты на этот раз на нем представлял не Фетюкович, а присланный им вместо себя очень похожий на жидка маленький черненький человек (так и хочется сказать «адвокатишко») по фамилии Малиновский. Как-то странно в адвокатской среде не принято обращаться друг к другу по имени отчеству – одни фамилии, вот и он нам не запомнился своими именем-отчеством, а так и остался в памяти адвокатом Малиновским. Впрочем, он был хорошо проинструктирован Фетюковичем, был в курсе малейших тонкостей дела – так что на качестве процесса отсутствие «знаменитого адвоката» особо не сказалась. Что касается самого Фетюковича, то, хотя мы все были убеждены в его долге личного присутствия, сам он так явно не считал, хотя и прислал поздравительный адрес на имя председателя суда от имени своего «частного лица» и «всего адвокатского сообщества». Это обращение зачитал в начале заседания Малиновский, хотя даже это обращение не остановило «злые языки» в предположении, что Фетюкович просто струсил открыто выставляться в этом деле – помнились угрозы и предупреждения во время первой попытки.

Хотя, сказать по правде, большой роли сторона защиты в этом процессе не играла, точнее, и сторона защиты и сторона обвинения на этот раз не сильно противоречили друг другу, а зачастую выступали почти согласовано. И если уж наши скотопригоньевские обыватели и могли назвать «пиесой» какой-то судебный процесс, то именно этот, второй, ну уж ни как не первый. Сторона обвинения была представлена вместо уже безвременно ушедшего от нас Ипполита Кирилловича (а он умер от злой чахотки, не прожив и года после первого процесса), заступившим на его место Нелюдовым Николаем Парфеновичем. Он нам известен по первому нашему роману в качестве судебного следователя. Но и он тоже не «играл первой скрипки» – повторюсь, по практически полной согласованности сторон защиты и обвинения. А это в свою очередь могло быть только благодаря хорошей следственной работе, когда сторонам уже практически не о чем было спорить. И эту решающую следственную сторону, раздобывшую все необходимые доказательства невиновности Дмитрия Федоровича, представлял ни кто иной как наш новый следователь Перхотин Петр Ильич. Мы не зря в первом романе одну из глав посвятили ему и назвали ее «Начало карьеры чиновника Перхотина». Это было действительно начало его головокружительной карьеры, так как, имея солидное столичное юридическое образование, он, наконец, сумел реализовать его, и именно с Карамазовского дела начинается его быстрый взлет, и если на втором процессе он выступал в качестве следователя, то перейдя в судебную часть, к настоящему времени он уже был помощником прокурора.

Нельзя не сказать несколько слов и о его семейной жизни. Ибо сильно нашумела в нашем городе примерно через полгода после суда над Митенькой его свадьба со старшей Хохлаковой. Это действительно была в своем роде «история», ибо уже на свадьбе шептались, что невеста будущего своего женишка «нянчила на руках», что, впрочем, никак не могло быть неопровержимой правдой, ибо она не могла быть старше Перхотина и десятью годами. Но Хохлакова явно расцвела и действительно выглядела гораздо моложе своих лет, а особую прелесть ей придало длящееся какое-то время соперничество между Перхотиным и Ракитиным, соперничество, в котором она, в конце концов, склонилась на сторону Перхотина. Ракитин, говорят, после этого «проигрыша» и уехал окончательно в Петербург, раздосадованный и обозленный. А Хохлакова, видимо, продолжая находиться в эйфории от брачных уз, долго не могла решить, как она будет теперь прозываться. Она решительно отказалась взять «чистую» фамилию – «Перхотина», ибо это, дескать, будет, как она выразилась, «изменой родовым корневищам и плодам». И какое-то время находилась в мучительно-сладостном колебании, как изме-

нить свою фамилию и называться – «Хохлакова – Перхотина» или «Перхотина – Хохлакова»? Петр Ильич совсем не препятствовал ее воле в этом плане, даже высказываемой и публично. А она говорила, что вариант «Перхотина – Хохлакова» ее не устраивает, так как несет в себе «родовые пережитки семейного домостроя» с «мужеподобным преобладанием маскулинного элемента», а вариант «Хохлакова – Перхотина» претит ей наигранным «эмансипе» с выставлением наружу того, что должно быть «только в недрах семейного очага». Говорят, непрестанно повторяя: «C'est tragique!.. Choix impossible!..¹», она дискутировала и колебалась еще и при записи в паспортном столе и разрешила свои колебания «горячей молитвой» пред иконой Богородицы в кабинете у начальника паспортного стола и вытаскиванием жребия (из двух бумажек с вариантами), определившего ее «окончательно и бесповоротно» как Перхотину – Хохлакову.

Но вернемся к Петру Ильичу, ибо это благодаря его юридическому гению Дмитрий Федорович смог быть оправдан на повторном процессе. Прежде всего Перхотин взялся за исследование денег, принесенных Иваном на суд от Смердякова, которые так безосновательно и легкомысленно были заявлены деньгами самого Ивана Федоровича. Они так и пылились в качестве приобщенных к делу «вещественных доказательств», но стали таковыми и обрели свою подлинную силу в качестве этих самых «вещественных доказательств» только благодаря усилиям Петра Ильича. Тщательно списав номера и серии купюр, он отправился в банки, где содержался капитал старика Карамазова, а последний, кстати, держал свои деньги в разных банках, порой перемещая их из одних в другие, более преуспевающие, чем тоже способствовал проститу процентов. В этих банках Петр Ильич узнал одну очень важную подробность: оказывается, старые, потрепанные банкноты время от времени обмениваются по существующей в нашем государстве процедуре на новые и, получив новые купюры, банки должны были фиксировать их номера и серии с тем, чтобы определить время их последующего хождения и износа. Большинство купюр в пачке Смердякова были новыми – это естественно, старый обольститель даже этой подробностью хотел угодить своей пассии, Грушеньке, – и Петр Ильич не зря рассчитывал на удачу. И действительно, он нашел банк, в котором и были сняты стариком эти деньги, более того, серии всех новых купюр из пачки точно соответствовали зафиксированным в самом банке сериям и номерам, а значит, это и были те самые деньги, а не какие-то другие, о чем бездоказательно заявил на прошлом суде Ипполит Кириллович. Это подтвердилось и еще одним доказательством. Оказывается, уже упомянутому нами Ильинскому батюшке, Федор Павлович пожаловал на рясу» тоже, не много ни мало, сторублевую купюру. (Такие приступы щедрости с ним иногда случались.) К вящей радости Перхотина тот не успел ее «пустить в оборот», положил «под спуд», задумав обновить иконостас, и вот, оказалось, что на этой купюре серия и номер совпали с записанными в банке. Только не в этом, где были записаны деньги, предназначенные Грушеньке, а в другом и некоторыми годами ранее – ибо купюра была уже не новой. Это ничего напрямую не доказывало, но все же служило подтверждением, что все деньги, связанные с Федором Павловичем, действительно принадлежали ему и не имеют какого-то «потустороннего» происхождения.

Уже на этих фактах можно было бы выстроить доказательную базу для оправдания Митеньки, но Петр Ильич на этом не ограничился. Он нашел и живого свидетеля, чьи свидетельства не просто потрясли, а порой заставляли содрогаться и краснеть многих присутствовавших на повторном судебном заседании. Этим свидетелем стала Марья Кондратьевна Белокопытова (мы кажется, в первом нашем повествовании не приводили еще ее фамилии), бывшая, как все думали, невеста Смердякова, но, как оказалась, главная причина его, как выразился адвокат Малиновский, «перемещения с этого незабвенного света на тот» и еще по, по его выражению, «штучка еще та». Как известно, она первая обнаружила повесившегося

¹ Это потрясающе!.. Невозможный выбор!.. (фр.)

Смердякова, была страшно потрясена, по свидетельству всех очевидцев – «тряслась как осинный лист», но это потрясение как-то уж очень быстро прошло, так что они с маменькой даже не захотели забрать из морга их предполагаемого «жениха и зятя». Не прошло и пары месяцев после суда над Митей, как мы все поразились неожиданному богатству этой, как мы помним, бедной прежде семьи, где Марья Кондратьевна не брезговала ходить за супом на кухню к Федору Павловичу и где, собственно, и познакомилась со Смердяковым. Так вот, они приобрели себе очень добротный домик практически в центре нашего города, а со временем даже открыли небольшой магазинчик, где стали торговать так любимыми Марьей Кондратьевной платьями с длинными богатыми шлейфами и некоторыми другими атрибутами женского гардероба. На все это требовалось никак не менее двух, а то и трех тысяч, и маловразумительные объяснения о получения наследства от каких-то дальних «родственников-благотелей» едва ли кого удовлетворили. Но самым неожиданным оказалось даже не это. Вскоре обнаружилась, что Марья Кондратьевна беременна. Это очень долго с помощью тех же самых платий и продолжительных болезней скрывалось, но шила в мешке не утаишь – и сие новое обстоятельство стало предметом острейших и язвительнейших зубоскальств нашей Скотопригоньевской публики. Однако Марья Кондратьевна не смущалась кривотолками и до поры до времени хранила тайну происхождения своего «плода», и только после его рождения разразился скандал, который сразу приобрел какую-то мистическую окраску. С трехдневной девочкой (а это была девочка – подробный разговор о ее судьбе у нас еще впереди) она явилась в карамазовский дом, где в то время никто не проживал, и всучила своего ребенка... Кому бы вы думали? Старика Григорию!.. Слова, которые она при этом произнесла, невозможно дословно воспроизвести в печати, но смысл был примерно такой – «забирайте свое проклятое отродье обратно».

И этот поворот своей судьбы Григорий воспринял стоически, хотя его верная жена Марфа Игнатьевна, говорят, вопила и билась в истерике от суеверного ужаса. У девочки на одной ножке оказалось четыре пальчика. (Ежели читатели помнят, то у собственного их давно умершего ребенка было их шесть и тоже на левой ножке.) Григорий по этому поводу, угрюмо уставившись куда-то в пол, – нет, он, конечно, тоже был поражен не меньше Марфы Игнатьевны, только не выражал свои чувства так бурно – сказал свою очередную загадочную фразу, которые, похоже, приходили к нему откуда-то свыше:

– Что ж, старуха, Бог не забыл нас своею карою. Порода Смердяковская требует восполнения...

И уж конечно, никто бы не смог добиться от него, что он имеет в виду. Девочка так и осталась у них, и ничтоже сумняшеся – несомненно, что это было решение Григория – ее назвали Лизой. Это, видимо, в честь ее уже поистине легендарной бабки – Лизаветы Смердящей. Правда, ее имя как-то очень быстро трансформировалось в уменьшительный вариант – Лизка. И этот вариант настолько закрепился за ней, что никто по-другому и не помышлял ее называть. Впрочем, пока не будем забегать вперед – вернемся к повторному суду.

Марья Кондратьевна была вызвана на суд в качестве свидетеля и дала там свои показания, причем, настолько откровенные, что некоторые дамы выбегали из зала суда с визгами, пунцовые от стыда и затыкая уши руками. Но еще до выступления Марьи Кондратьевны на суде был опрошен один очень важный свидетель, давший невероятно ценные показания – Катерина Ивановна Верховцева. Она заявила суду, что три года назад незадолго до первого процесса ходила к Смердякову и дала ему три тысячи (опять три тысячи!), чтобы он выступил на суде с «признанием» о своем преступлении. Катерина Ивановна особенно напирала на то, что она всегда верила в «неповинность» Дмитрия Федоровича, а ее «истерическое», как она сама сказала, выступление на прошлом суде, объясняется нервным срывом, вызванным переживаниями по поводу состояния здоровья Ивана Федоровича, ее будущего (сейчас уже настоящего) мужа. А три тысячи она принесла Смердякову, чтобы поддержать его материально после суда – чтобы он не боялся за свою судьбу по его итогам. Она рассказала, что Смердяков поначалу

очень недоверчиво воспринял ее заверения в том, что его могут полностью оправдать, признав его покушение на убийство временным помешательством, «аффектом», вызванным болезненным его состоянием. Но, в конце концов, деньги взял, сказав, что «подумает», но выступит с признанием только в том случае, если Катерина Ивановна «навсегда» сохранит тайну ее визита и выданных ему денег – что последняя ему и пообещала. Точнее даже не пообещала, а «поклонилась», и видно было, как Катерину Ивановну все-таки беспокоит необходимость открытия этой «клятвенной тайны», хотя и она заявила, что клятвы отцеубийце и самоубийце не имеют для нее никакого значения.

И ведь действительно тайна эта продержалась целых три года, но нас сейчас интересует дальнейшая судьба этих денег и связанного с ними Смердяковского самоубийства – история, достойная отдельного описания в каком-нибудь детективе. Марья Кондратьевна явилась в суд в новом, ужасно шуршащем платье, с неизменным хвостом, подшпиленным однако так, чтобы он не волочился по земле. Платье это хрустело и шуршало так, что порой заглушало голос самой Марьи Кондратьевны, сам по себе достаточно громкий, особенно при одновременных движениях или поворотах тела. Держалась она нагло, но в то же время было заметно, что трусит. Она даже упредила соответствующие вопросы прокурорской стороны, признавшись в том, что Смердяков сразу же, как переехал к ним жить после больницы в нанятую избу, признался ей в убийстве отца и в подтверждении показал ей деньги и строил планы дальнейшей совместной жизни «не в этой поганой избе и поганой России», а если получится, то «и в Париже-с можно обустроиться и даже с немалыми удобствами-с». Но этим планам не суждено оказалось сбыться из-за непредусмотренной беременности Марьи Кондратьевны.

Хочу предупредить читателей, особенно читательниц, что сейчас мне придется передавать некоторые скабрёзности; я, конечно, постараюсь все, насколько это возможно, сгладить и, разумеется, останусь в рамках приличия, но предупредить все-таки считаю не лишним. Больше всего Марью Кондратьевну возмутило то, что когда она поведала Смердякову о своей беременности, тот отрекся от своего отцовства на том основании, что он, однажды совершив известный физиологический процесс, не довел его до естественного конца. Марье Кондратьевне хватило стыда передать прямой речью слова самого Смердякова, сказанные им по этому поводу: «Это чтобы вы не думали-с, Марья Кондратьевна, что я по любви к вам поступаю-с и занимаюсь с вами этими любовными глупостями. Я волен подлую карамазовскую природу преступить-с по своему волею. Только уступаю вашему желанию и слабости-с вашей. Чтобы вы раз и навсегда это знали-с. Это Дмитрий Федорович или старик Федор Павлович, мною убиенный, не могли жить-с без разврата-с, и смысл жизни своей полагали в этой глупости. Да и Иван Федорович и Алексей Федорович, уж на что такие благородные, а закончат тем же-с, поверьте мне, Марья Кондратьевна, я людей знаю-с, а подлую карамазовскую природу – уж и тем паче-с». Поразительно, как обо всем этом рассказывала Марья Кондратьевна – абсолютно даже без тени какого-либо стыда, напротив, с какой-то даже наглой обидой – вот, дескать, какой урод попался мне, каково, мол, мне с такими уродами было якшаться. И видимо, настолько опасалась предстать виновной юридически, настолько опасалась каких-либо опасных для нее судебных последствий (типа, взыскания денег обратно или обвинений в доведении до самоубийства Смердякова), что полностью пренебрегла какой-либо нравственной своей репутацией, если вообще когда-либо заботилась о таковой. Повторюсь, нам, мужчинам, было тяжело выслушивать подобные признания, не говоря уже о женской публике, поминутно выбегавшей из зала, правда, вскоре с жадным любопытством просачивающейся обратно и боящейся упустить в дальнейшем хотя бы слово.

Но как ни пыталась Марья Кондратьевна выставить себя в благоприятном для нее свете, из дальнейших вопросов и ответов выявился такой жуткий ее образ, что мало кто в зале не поежился, представляя себя на месте Смердякова. Первым ударом, от которого, по словам Марьи Кондратьевны, он даже заболел, стала ее угроза заявить в суде о его виновности. Потом,

уже после суда, народ делился впечатлениями, каково это было Смердякову – получить такой удар в спину и от кого – от той, которая по его убеждению, благоговела перед ним и считала его за «высшее существо». Результатом этого шантажа стало то, что, когда Катерина Ивановна передала Смердякову три тысячи в обмен на его признание, он отдал эти деньги Марье Кондратьевне. Кстати, так и осталось тайной, собирался ли он все-таки признаваться на суде в своем преступлении – или же просто взял деньги от Катерины Ивановны, чтобы успокоить свою разошедшуюся пассивность. Но в любом случае шантажистку это не остановило. Уже войдя во вкус, она потребовала не только безоговорочного признания отцовства, не только перевода на ее имя всех будущих «предприятий и доходов» (это Парижских что ли?), но и – это особенно всех поразило! – потребовала, чтобы Смердяков стал добиваться от Ивана признания своего «законного» статуса, как сына Федора Павловича и на этом основании – равной с ним доли наследства. В противном случае грозились «все тайное сделать явным» – явиться на суд с разоблачением Смердякова и его «разврата». На последнее она особенно напирала, понимая насколько болезненным для его самолюбия станет последнее обстоятельство. Точнее, на суде-то она несколько раз заявляла, что «не понимала», что она «только грозились» и ни за что бы «не пошла». Но тут же оказалась срезанной прокурором Николаем Парфеновичем, что это грозило бы ей самой соучастием в сокрытии преступника, и смешалась, не зная, что сказать, чтобы не запутаться еще больше. Впрочем, дальше ее «раскручивать» не стали, почти физически на суде чувствовалось ощущение не просто «гадливости», а какого-то суеверного ужаса перед «этой штучкой». Кто-то даже предположил после: а может, и прав Смердяков – не от него она заносила этот плод, такая бы и дьявола нашла за что шантажировать. Ее вскоре отпустили – дело было предельно ясным, и незавидная участь Смердякова, ставшего жертвой давления и шантажа, странным образом, у части нашей публики даже вызвала сочувствие. «Во – бабы!.. – уставив палец куда-то вверх, сказал после суда наш председатель, – она бы и Ивана Федоровича шантажировала потом всю оставшуюся жизнь через беднягу Смердякова». И чтобы уж закончить о ней, добавим, что вскоре после суда они с маменькой продали дом в Скотопригоньевске и исчезли из города. Говорят, их видели где-то в Москве, но на этот счет у меня уже нет подробных сведений.

Ну а суд наш при редком единодушии сторон завершился полным оправданием Дмитрия Федоровича Карамазова по всем обвинительным пунктам.

IV

Митя снова чудит

Оправдательный процесс над Дмитрием Федоровичем состоялся через три, точнее, три с половиной года, после первого суда над ним, закончившимся, напомним, обвинительным приговором к двадцатилетней каторге. Теперь же, после оправдательного судебного решения, многие из публики поздравляли друг друга с этим «торжеством справедливости», была даже идея устроить общественный банкет по этому поводу. Решили отложить до возвращения Мити. Но не успела наша публика успокоиться, как была поражена новым известием, пришедшим из Омска, где Дмитрий Федорович отбывал свой срок. За какое-то свое новое, и уже вполне реальное преступление, он был вновь приговорен к каторжным работам. И на этот раз на десятилетний срок... Как? Что такое? Как такое могло быть? Мы все терялись в догадках. Единственно, что стало известно сразу – Митя устроил какую-то драку в самом остроге, даже, говорили, покалечил начальника тюрьмы, в которой находился под стражей. И даже не было понятно, успела ли до него дойти весть об освобождении; скорее всего – да, так как новый полученный им срок не был привязан к старому и как бы определил судьбу уже свободного человека. Много было толков у нас о превратностях судьбы Митеньки, как и обстоятельствам его странного неудавшегося побега, планировавшегося сразу по прибытии Дмитрия Федоровича в Омск. Подошло время познакомить читателей и с этой страницей его непростой биографии.

От идеи устроить побег Мити во время его движения по этапу Катерине Ивановне после совета с Алешей и выздоравливающим Иваном пришлось отказаться. Это было слишком опасно. Побег при движении арестантской партии мог завершиться просто банальным расстрелом на месте, а договориться с начальниками пересыльных пунктов представляло очень большую проблему. Они слишком часто менялись, редко кто из них задерживался на «собачьей службе» больше, чем по году, да и рассматривали ее не как средство извлечения выгоды, а как возможность доказательства служебного рвения с последующим переводом на более «теплые местечки». Катерина Ивановна проехала весь путь, предстоящий Митеньке в его движении по этапу, пыталась подкупить нескольких должностных лиц, но все оказалось безрезультатно. Удача улыбнулась ей лишь в Омске. Здесь она на некоторое время задержалась, завязала связи с местной публикой, кое-кого, говорят, даже очаровала своим умом, красотой, и главное «активной общественной позицией», выдавая себя не только за жену «невинно осужденного», но и за ходатая по умягчению условий содержания каторжных заключенных вообще. Здесь ей помогли туманные намеки на связи в «высших сферах» и протекцию «влиятельных общественных сил». Она даже пару раз присутствовала на благотворительных вечерах, устраиваемых в пользу «осужденных», где подкупала не только своими речами, но и безупречными благородными манерами. Она везде рассказывала об обстоятельствах Митино дела, выставляя его за невинного страдальца, и даже с вызывающей неподдельное уважение суровостью повествовала о собственной вине в его осуждении. В общем, Митя еще до прибытия на место своей каторги, в глазах местной общественности уже был представлен в благоприятном свете, и почва для покровительства ему в общественном мнении уже была создана.

Но эта сторона была не главной: Катерина Ивановна, как прирожденный конспиратор, устроивший себе благоприятную «крышу», повела неутомимую подпольную работу по поиску и «вербовке» необходимых для «дела» лиц. И такие лица были ею, в конце концов (за месяц-полтора) найдены. Ими оказался смотритель Омского острога и главный врач городской больницы. Не будем утомлять читателей подробностями их вовлечения в сговор, скажем только, что решающую роль, конечно же, сыграли деньги и не очень прочное служебное положение обоих, решивших после увольнения со службы упрочить свое материальное состояние. План был следующим. После прибытия Мити в Омскую «пересылку» и помещения его в положенный «карантин» перед определением в конкретное место отбывания каторги, его, под предлогом какой-то необычной болезни, должны будут свезти в городскую больницу, где только и находился необходимый врач-специалист. Из больницы и должен был быть совершен побег. Отвечать за него придется единственно надзирателям, не углядевшим за арестантом, и у начальника тюрьмы, то есть ее смотрителя, были даже свои виды на этих «козлов отпущения». Чем-то они ему досадили, скорее всего, из-за неуместного служебного рвения или «несговорчивости» помешали осуществить еще какие-нибудь темные делишки.

Мы уже упоминали, что Иван догнал Катерину Ивановну на полдороге к Омску, и они вместе готовили Митю к предстоящему побегу. Но тот, чем ближе приближалась развязка, становился все более мрачен и молчалив. Возможно, на него влияло отсутствие рядом Грушеньки, которой, разумеется, и не могло рядом быть, ибо она все дела по побегу доверила Катерине Ивановне и Ивану, а ее присутствие могло сыграть лишь отрицательную роль, понапрасну будоражащую и изводящую Митю. Но оказалось, что ее отсутствие действует на него в еще худшей степени. Митя терзался ревностью и неуверенностью в себе и был опасно рассеян тогда, когда надо было быть в максимальной степени собранности и сосредоточенности. Он почти каждый день по вечерам встречался с братом и Катериной Ивановной на пересыльных пунктах, если партия успевала туда добраться и разместиться. Там на час-два перед отбоем его уводили в отдельную камеру для общения с «родственниками». Только Митя все больше отмалчивался в ответ на приглушенные «инструктажи» своих спасителей. Так, по прибытии в Омск, ему нужно было симулировать «вегето-сосудистую дистонию», то есть постоянно жало-

ваться на головную боль, нервы, потерю сил и повышенное давление. Митя задание выполнил из рук вон плохо, вместо положенной симуляции, сказав пересыльному врачу, что у него «душа болит». Но материальное подкрепление от «родственников», их убеждения в опасности его болезни сыграли свое дело, и тот выписал направление в городскую тюрьму на осмотр у соответствующего специалиста. В сопровождении двух надзирателей (смотритель тюрьмы позаботился о нужных персонах) Митя на обычной городской пролетке (а дело было в июле) прибыл в городскую больницу на окраине Омска – мрачное двухэтажное строение, выкрашенное серой краской, единственное удобство которой в плане побега заключалось в отсутствии решеток на окнах и глухой стены вокруг здания. Главный врач больницы уже был в курсе и все подготовил соответствующим образом. Иван и Катерина Ивановна ожидали с готовой конной упряжкой во дворе больницы, причем, чтобы обойтись без лишних свидетелей, Иван сам правил лошадьми.

Поначалу для усыпления бдительности полицейских надзирателей всех троих заставили долго ждать перед приемным кабинетом врача-невропатолога, в роли которого выступил сам главный врач больницы. Он, наконец, пригласил больного для осмотра. По инструкции надзиратели должны были предварительно осмотреть кабинет, а затем одному следовало оставаться внутри, а другому снаружи. Так и было сделано. Старые служаки, а оба были в возрасте, все сделали, как положено, но не учли хитрости и коварства своих начальников. Тот кабинет, куда завели Митеньку, был только смотровым, из него вела дверь в процедурное отделение, а оттуда выходила еще одна дверь, через которую можно было выйти в другой больничный коридор и далее из больницы. Главврач, осмотрев «больного», и, заставив его лечь на каталку, одел на его глаза якобы необходимую для исследования нервов повязку и отвез его в процедурную комнату. По инструкции жандарм или полицейский надзиратель должен был последовать за ним, но в то же время и приглядывать за этой смотровой комнатой. Но и пост снаружи не следовало покидать. Нужен был бы по идее третий, но третьего не было, и престарелый надзиратель сделал ошибку, на которую, собственно, и был расчет. Он решил, что процедурная комната глухая, оттуда убежать невозможно, и не последовал за каталкой. А главврач, отведя каталку и сдав ее ожидавшему там Ивану, который увез «больного» в коридор, поставил посредине еще одну заготовленную заранее каталку, растворил настежь окна в процедурной (все происходило на первом этаже) и вернулся в смотровую. Там он еще минуты три возился в стеклянном ящике, якобы готовя препараты и болтая с надзирателем о неминуемой надвигающейся грозе и, наконец, вернувшись в процедурную, заорал благим матом от якобы бегства заключенного через окно. Естественно, времени для сокрытия Мити прошло достаточно, его уже успели увезти с территории больницы, поэтому все судорожные метания полицейских уже ни к чему не привели.

Казалось, можно было бы поздравить Митю с успешным побегом, но не тут то было. Ибо здесь и произошло то невероятное и не укладывающееся в голову его «чужачество», которое сорвало все планы по его побегу и более того – едва не закончилось по самому худшему сценарию для всех его организаторов. Митя не сразу пришел в себя, когда, уже сидя в погоняемой Иваном пролетке, с него была снята повязка, и он оказался между братом и Катериной Ивановной. Он какое-то время с недоумением в них всматривался, затем, как будто что-то стало до него доходить – поднял руки вверх и с удивлением обнаружил отсутствие на них кандалов. (Заковать в настоящие кандалы Митю должны были уже на месте каторжных работ; при движении по этапу на него надевали временные «наручники», которые были сняты с него надзирателями в смотровом кабинете больницы.) Он еще какое-то время с недоумением переводил взгляд с одной руки на другую, потом еще раз оглянулся на брата и Катерину Ивановну, и – как будто только что до него дошло – гримаса отчаяния и боли исказили его лицо.

– Не принимаю, – сначала глухо прошептал он, а потом повторил еще громче, потрясая руками, как будто на них еще были кандалы. – Не принимаю освобождения!..

И наконец, схватил Ивана за руку, пытаясь остановить через него движение лошадей. Иван с какой-то злой улыбкой на бледном лице, стал отбиваться от брата, дергающего через вожжи лошадей и мешающего править ими. Тогда Митя, уже чуть не плача, повернулся к Кате, смотрящей на него сухим, горящим и решительным взором:

– Катя, не позорь!.. – и снова возвысив голос до крика. – Не принимаю! Не принимаю освобождения без выкупа...

И после этих слов, уже не трогая Ивана, перехлестнувшись через Катю, выпрыгнул прямо на ходу из пролетки. Испуганные лошади сразу же дернулись вперед, и Ивану стоило немалого труда справиться с ними, но когда он все же остановился и выбрался наружу, Митеньки уже не было на улице. С ним произошло следующее, что впоследствии он объяснял не иначе как «божественнейшим промыслом». Выскочив из коляски и какое-то время по инерции прокатившись по деревянной мостовой (в этом месте улицы в связи с частой топкостью было деревянное покрытие, которое помогло Мите обойтись без серьезных травм), он обнаружил себя прямо напротив полицейского участка или как его еще называют – «околотка». Он сразу же ринулся туда, повторяя как безумный ту же самую фразу: «Не принимаю!.. Не принимаю!..» В участке его сначала приняли за сумасшедшего. Его громовые возгласы о «непринятом побеге» невозможно было понять. С расцарапанной бровью и вследствие этого с залитым кровью лицом, размахивая руками, он вызвал оторопь даже у видавшего виды дежурного жандарма (в этом же здании было и жандармское отделение полиции), не сразу остановившего его и едва нагнавшего, когда Митя, по какой-то непонятной интуиции найдя нужный кабинет, ворвался прямо в кабинет участкового пристава. Одет он был еще по-цивильному, не в каторжную робу, и только безобразный ежик, когда-то подстриженной наголо головы, выдавал его арестантское положение. Надо же, что именно в это время и именно в этом участке оказался и смотритель тюрьмы, жандармский полковник, главный организатор его побега. Он дежурил там, контролируя ход предприятия, зная, что беглецы должны проследовать из города именно этой улицей. Заметив проскочившую пролетку и решив, что дело сделано, он уже отошел от окна и что-то с улыбкой говорил начальнику околотка, когда в кабинет с воем ворвался Митя, а за ним и толпа жандармов и полицейских, привлеченная шумом и решившая, как они потом говорили, что их «атакуют бомбисты». Начальник тюрьмы выдержал, наверно, самые страшные секунды в своей жизни – казалось, само «небо» его решило наказать за служебное преступление. Слыша сбивчивые крики Мити, распластанного под несколькими телами жандармов, он потерял дар речи, чувствуя, как он потом говорил, что у него на голове «седеют волосы». Митю, наконец, успокоили, усадили на стул, заломив ему руки назад, обыскав его на предмет наличия оружия или взрывчатки.

– Господа!.. Господа!.. Божественнейший промысел!.. Я и летел к вам, господа!.. Я слетел прямо к вам, господа!.. Аки кур во щи – то есть прямо в участок!.. Я не принял их милости!.. Дмитрий Карамазов не принял милостыню, господа!.. Это же понимать нужно!.. Каково – а!.. Осчастливить хотели!.. Побегом... Я, Дмитрий Карамазов, и зайцем да по полю!.. Чтобы презирать потом всю остальную жизнь!.. Нет, господа!.. Карамазов подлец, но милостыни не принял!.. Не от гордости, господа!.. Нет!.. Вы не поймете, господа!.. Тут другое!.. Тут время подлости или гибели!.. Инфернальнейший выбор, господа!..

Митя все продолжал сыпать подобными маловразумительными фразами, давая время смотрителю прийти в себя и сообразить свои дальнейшие действия. Ему, наконец, удалось всех успокоить, привести в порядок Митю и добиться, чтобы их оставили вдвоем, якобы для предварительного дознания. Евгений Христофорович Бокий – мы, наконец, нашли возможность познакомить читателей со смотрителем тюрьмы – не сразу приступил к допросу. Это был уже сильно поседевший, но еще не до конца обрюзгший мужчина ближе к шестидесяти. Главное, что бросалось в глаза на его лице – это пышные, лихо закрученные «по-Ноздревски» усы, которые как-то слабо гармонировали с его холодными и какими-то «сухими» глазами.

– Так, значит, Дмитрий Федорович Карамазов!.. Вы хотите сделать какое-то заявление или даже признание?..

– Да-да, я, я хочу... Я, простите, не знаю... честь с кем...

– Господин полицейский!..

Митю как-то сразу и заметно резануло, что ему отказали в чести общаться по имени отчеству. Он усиленно заморгал, особенно сильно дергая рассеченной правой бровью, заклеенной пластырем, который из-за небрежности и поспешности прилепления частично закрывал ему обзор.

– Да-да, я понимаю!.. Но, право же!.. Хотя – принимаю... Достоин! Заслужил!.. так, значит – что!.. Я, Дмитрий Федорович Карамазов, бывший дворянин, лишенный дворянства по приговору суда – заметьте, господин... господин... (Митя все-таки не мог перейти на предложенную ему форму общения.) Суда праведного, хоть и несправедливого... Приговоренный к двадцати годам каторжных работ... Фу – гниль какая!.. В общем, так! От побега, устроенного мне братцем и невестой быв... (Митя тут осекся.) Ну – не важно кем... От побега, мне устроенного отказываюсь. Не принимаю!.. Не принимаю!.. – Митя попробовал и тут возвысить голос, но тот как-то неожиданно пресекся, еще только начиная усиливаться, и он недовольно замолк.

Евгений Христофорович выдержал паузу.

– Итак, вы признаетесь в побеге из пересыльного пункта, точнее, из больницы, и понимаете все последствия этого противоправного действия.

– Понимаю, понимаю!.. – недовольно поморщился Митя. – Я, господин... Я, господин полицейский, раз уж вы не считаете возможным со мною общаться в других этикетах, все-таки прошу учитывать, что я хоть и бывший дворянин, но все-таки дворянин, то есть в душе. В общем так... Давайте, покончим с этим.

Дмитрий Федорович явно злился и за что-то страшно досадовал на себя. Он и сам не мог понять причины своей досады, и это его начинало все сильнее злить.

– Итак, вы, господин Карамазов, понимаете, что решившись на побег и добровольно признав его наличие...

– Я не решался!.. Впрочем, черт возьми!.. Если и решался – так не дал же!.. – перебил Митя.

– Итак, господин Карамазов, – как не слыша оппонента, продолжил Евгений Христофорович, – вы сами признаете, что пытались неупустительно совершить побег... – он сделал паузу, ожидая реакции, но Митя на этот раз зло молчал, играя желваками щек, покрытых двухнедельной щетиной. Первое время в заключении и даже на этапе, может, в ожидании Грушеньки, Митя тщательно следил за своим внешним видом. Сейчас уже не так.

– Что касается вашего брата Ивана Федоровича Карамазова и бывшей невесты вашей Катерины Ивановны Верховцевой... – продолжил, было, Евгений Христофорович, но Митя резко вскинул на него глаза, в которых читались испуг и удивление. – Да-да, не удивляйтесь. Как видите, нам все давно и неупустительно известно о ваших преступных намерениях и намерениях организаторов вашего побега. Мы давно за ними следим.

– Вы что?.. Откуда?.. Я не... – смешался еще больше Митя, усиленно двигая залепленной пластырем бровью. Потом замер, как бы усиленно что-то соображая и скребя пальцами левой руки мозоли на тыльной стороне ладони правой.

– Только вы не подумали об одном обстоятельстве, – Евгений Христофорович как-то слишком резко придвинулся через стол к сидящему с левой стороны стола Мите. – Только вы не подумали, господин Карамазов, о последствиях вашего необдуманного поступка. – И он как-то странно вытянул вперед губы, так что широкие усы над ними приняли почти горизонтальное положение, а в лице появилась какая-то непонятная ирония. Митя явно что-то не улавливал:

– Подождите, я же – черт возьми!.. Сам пришел к вам. Сам!.. Понимаете?.. Господин полицейский!.. Из побега же этого чертова!.. Что не так!?..

– Так может быть, в этом и заключалась вся необдуманность вашего поступка?!..

– Черт возьми, я не понимаю... Вам-то что – птичка сбежала и сама к вам вернулась. Вы же радоваться должны!..

– Ну, а братец ваш и милейшая и надо сказать очень решительная особа ему сопутствующая?.. Мы ведь не сегодня, так завтра неупустительно можем привлечь и обязательно привлечем их к ответственности за организацию вашего побега. Далеко они уехать еще не могли – или вас их судьба не волнует?

Митю стало накрывать тоскливое волнение, при котором он терял способности ясно мыслить и оперативно принимать решение. Он не мог понять этого «господина полицейского», так много оказывается знающего и на что-то ему словно намекающего, и в то же время его злила и выводила из себя эта ироничная гримаса на его лице – он словно наслаждался его беспомощным непониманием.

– Я требую!.. Говорите яснее!.. Что вы хотите от меня?.. Может, чтобы я снова убежал? И этим спас!.. – он вдруг осекся – как бы что-то прозрев и уставившись прямо в «сухие» глаза начальника тюрьмы. – Вы правда мне предлагаете убежать снова? – и теперь уже сам придвинулся наискось стола к откинувшему назад Евгению Христофоровичу.

– Ну, кто же вам даст просто так сбежать, голубчик...

– Я не голубчик – я дворянин!.. – взорвался Митя, выходя из себя, чувствуя, что волна гнева его накрывает с головой. – Я дво... Я – бывший дворянин Дмитрий Карамазов, требую соразмерности!.. Фу!.. Черт!.. Справедливости!.. Справедливого обращения... – Он даже заерзал на стуле, не в силах остаться на месте, но в то же время ощущая, как гнев как-то подозрительно быстро из него улетучивается.

– Так кто же вам даст сбежать, бывший дворянин Дмитрий Федорович Карамазов? – с той же иронией произнес, лишь слегка исправившись, Евгений Христофорович, сохраняя полнейшее спокойствие. – Хотя такая альтернатива – как одна из других все же существует. И даже может быть выставлена в качестве неупустительно преобладающей альтернативы.

Митя, справившись с приступом гнева, почувствовал, как его все сильнее перекрывает чувство обессиливающей безысходности – такое с ним бывало, когда он терял представление о мотивах слов или поступков своих оппонентов. Он вдруг решил молчать, чтобы не запутываться еще больше. Молчать до тех пор, пока ему не станет ясно, куда клонит этот «господин полицейский».

– Итак, как говорится, подбьем бабки – давайте обозначим с вами, господин Карамазов, возможные альтернативы, – по-будничному и даже чуть отстраненно заговорил Евгений Христофорович. – Не совершив тот поступок, который вы вот только что совершили, вы бы уже давно не имели отношения к нашей братии и к нашему вредному, как многие полагают, учреждению. Думаю, последствия вашего укрытия и отхода были хорошо продуманы Иваном Федоровичем и Катериной Ивановной, равно как и материальное обеспечение этой, да и всех последующих операций. А ведь недешево же все это стоило, Дмитрий Федорович, согласитесь? Ведь это со многими и достаточно высокопоставленными людьми нужно было войти в контакт и доверие, чтобы провести такую операцию... – Он чуть помолчал, словно давая Мите осознать все вышесказанное. – Но совершенно неожиданно вы предпочли совсем другую альтернативу. Альтернативу, мало сказать, необычную, я бы сказал – неслыханную, вопиющую, поражающее воображение!.. Да – неупустительно!.. Очень даже неупустительно!.. Зело было бы интересно, кстати, узнать причины такого неслыханного поступка, но вы, видимо, сейчас не очень расположены на откровенность, Дмитрий Федорович? Я правильно понимаю?.. – Митя продолжал угрюмо молчать, все сильнее поджимая губы и собирая в морщины кожу под глазами и на висках. – Что ж – одна из альтернатив предусмотрит большую степень откровенности – но это

по вашему выбору, только по вашему выбору... – Тень иронии снова мелькнула на лице Евгения Христофоровича, но он быстро согнал ее с лица. – Да, бывает такое!.. Удивительное дело, как сделанная глупость может изменить человеческие судьбы!.. Ну, не кипятитесь, Дмитрий Федорович, я сейчас не вас имею в виду, гм, не только вас... Да и если бы только тех, кто только что сделал и делали раньше подобные глупости – было бы полдела. А то ж ведь свойство ее..., глупости, глупости – да... – задевать судьбы и других людей, и даже весьма близких людей. И они, бедняжки, вынуждены участвовать в этой глупости, то есть расхлебывать ее последствия. А ведь брат ваш и...

– Я требую!.. – глухо зарычал, было, Митя, но ничего не добавил. Его душила уже не гнев и злоба на «господина полицейского», а гнев и злоба на самого себя. Он вдруг всеми изгибами души понял, что попал, или, как говорят «влип» во что-то настолько ужасное и небывало грязное, что у него не хватает мужества себе в этом признаться. Случайно взглянув в запыленное и давно не мытое единственное, но большое окно, он в его нижнем углу уперся взглядом в клок паутины, в котором трепыхалась зацепившаяся там муха, и невольно содрогнулся от сходства своего положения. Паук или очень неспешно к ней приближался или просто наблюдал за нею из своего угла, наслаждаясь ее мучительными и безуспешными попытками к освобождению. Сходство с пауком «господину полицейскому» придавали его пышные усы, и Митя с ненавистью замечал их шевеление во время речи. Евгений Христофорович между тем продолжал свои разглагольствования:

– Да, Дмитрий Федорович, ведь не зря же было сказано Спасителем: «возлюби ближнего своего». А вы не возлюбили. Неупустительно не возлюбили!.. Ибо если бы любили, не совершили бы столь странного поступка. Оно, конечно, бывает всякое, и ближние наши бывают далеко не сахар, особенно, судя по бывшей невесте вашей, ведь не зря же вы не женились на ней. Женщина она, безусловно, прекрасная, даже во многих отношениях, и теперь ее достоинства вынужден оценивать ваш братец Иван...

Митя вдруг со страхом ощутил, что этот «мерзкий полицейский», этот «усатый болтливый паук» специально его провоцирует. Как бы ждет, что он сейчас снова взорвется, вступится «за честь» Катерины Ивановны, как бы говорит ему: «Ну, давай, взорвись, покажи, на что ты способен. Прояви еще раз свою волю, покажи еще раз свою дворянскую честь...» И к ужасу своему почувствовал, что у него внутри как будто что-то стало ломаться. Он хотел, и не мог больше разгневаться, – то есть выйти из себя, может даже, вцепиться в горло этому «пауку» и задушить его. Животный липкий страх, как черная мерзкая мокрота сначала выступил пятном в самой глубине души, а затем начал пропитывать ее снизу, не поднимаясь, а именно постепенно пропитывая пласт за пластом слои его души. В какой-то момент ему показалось, что он сходит с ума, ибо в качестве спасения от этой «пропитки», от этого полного поглощения страхом ему захотелось громко засмеяться, даже захлебнуться смехом, только чтобы не слушать, не воспринимать больше ядовитого «шипения» и «шевеления» этого «паука», уже опутавшего его невидимыми липкими плетями страха и немоции. А тот, словно почувствовав внутреннее состояние Мити, сделал паузу в своих речах и деловито подвел ей итог:

– Итак, Дмитрий Федорович, голубчик вы мой, альтернативы у вас, собственно только две. Вы по собственной воле изволили попасть, как это говорится, «в наши неупустительно теплые недра», но только эта альтернатива, как вы понимаете, ведет к прямым последствиям по отношению к Катерине Ивановне и Ивану Федоровичу. Не сегодня, думаю, все же не сегодня, а скорее всего завтра – ну, не далее как послезавтра – мы об этом позаботимся – они тоже окажутся в наших теплых недрах рядом с вами – мы даже разместим их поблизости, так чтобы вы могли чувствовать рядом родную кровь – хе-хе... – Евгений Христофорович все-таки не удержался от открытой иронии. Но он уже действительно мог не сдерживать себя. – Причем, самое обидное – а это наверно самое обидное, не правда ли, Дмитрий Федорович, что попали они сюда благодаря вам. Да-да, именно вам. И именно вашим показаниям, которые вы так

неосторожно дали еще на этапе самого первого явления, так сказать, в наше учреждение. А уж мы позаботимся о том, чтобы у них не было даже тени сомнения в этом. А там и очную ставку проведем, чтобы вы имели возможность неупустительно лицезреть, так сказать, родные лица, и увидеть их благородное негодование по поводу предавшего их неблагодарного братца и бывшего жениха...

Митя молчал, но последние слова как бы все-таки пробудили в нем что-то уже растоптанное и раздавленное. Почти не поднимая опущенной головы, он поднял глаза на мучителя (из-за пластыря он видел его только в левый глаз) и глухо сказал:

– Ты – подлец!..

Его слова вызвали буквально взрыв, казалось, вполне искреннего и неподдельного хохота у Евгения Христофоровича. Потрясаемый его раскатами он так завалился назад, что едва не опрокинул стул под потемневшим от, видимо, не очень качественно письма, портретом нашего государя-императора (напомню, что действие происходит в кабинете у начальника околотка). Митя с еще большим ужасом смотрел и слушал эти раскаты, даже не пытаясь собрать в кулак остатки раздавленной воли.

– Ох, ха-ха!.. А мы уже на ты – так Дмитрий Федорович? – стал постепенно успокаиваться Евгений Христофорович. – Вот уж поистине никогда не предугадаешь этот мгновенный переход к близости, которой так сильно чаешь и добиваешься, но которая всегда приходит в самый неожиданный момент. Ох, насмешил ты меня, Дмитрий Федорович.... И знаешь – раз уж мы стали на ты – что мне всегда самое смешное в подобных положениях? Так сказать, как бы это помягче выразиться, чтобы тебя не обидеть, – субъекты оскорбления. Не объекты – а субъекты, заметь разницу, то есть, те, кто тебя так обзывает. Да – поистине, жизнь штука смешная, очень ироничная, очень!.. Вот ты, ради которого брат и бывшая пассия рисковали очень многим, кланялись в ноженьки, оббивали пороги, искали нужных людей, платили им немалые деньги, – ты, все это разом отправивший ко всем чертям ради, гм... не знаю, даже ради чего – не подлец? Не подлец? Не подлец разве – ведь из-за тебя они сядут скоро рядышком – и не подлец? А подлец, ха-ха, оказываюсь почему-то я, который просто делает свое дело, и делает его, думаю, весьма неплохо и неупустительно – так сказать, служа государю и отечеству, ну и о себе, разумеется, тоже не забывая. Да, неисповедимы люди твои, Господи!.. Знаешь, кто меня однажды гнидой назвал? Один ростовщик, сживший со свету не одну душу, паук, высосавший крови больше, чем я видел во время казней и экзекуций. Ох, я тоже смеялся, отправляя его по этапу в места, так сказать, «прохладнее наших». Но перед этим повеселился с ним, да повеселился...

Евгений Христофорович опять откинулся на стуле, сузив глаза и с замеревшей на лице улыбкой, словно уйдя в прошлое и созерцая там что-то очень приятное и незабвенное. Губы его при этом чуть выпятились трубочкой, а усы из-за этого затопорщились как-то совсем по-кошачьему. Митя глухо и безнадежно молчал.

– Ну, в общем, так, голубчик мой. Будем считать, что наше приятное общение с тобой подходит к концу – надеюсь, к обоюдоприятному концу. Сейчас тебя отправлю в камеру, посидишь там до ночи, ночью я за тобой пришлю надзирателя – он тебя выведет и посадит к ямщику – и чтобы духа твоего здесь не было. Лети – догоняй своих спасателей, которых ты едва не усадил на нары вместе с собою. Смотри – чтоб без глупостей и чудачеств. Второго шанса вырваться от нас у тебя не будет и благодари, не знаю Бога или черта, что ты попал сюда, когда я тут был – иначе уже все втроем скоро бы позвякивали колокольчиками. Да, прежде на вот лист – бери, пиши...

Он вынул из ящика и протянул Мите лист белой бумаги с гербовой печатью и придвинул к нему чернильницу с пером. Митя автоматически, как замороженный, развернул бумагу и взял перо.

– Так, пиши... «Я нижеподписавшийся, Дмитрий Федорович Карамазов, бывший...» Пиши полностью свои регалии до суда и приговор по нему.... Так – написал? Дальше – «обя-

зуюсь впредь сотрудничать с правоохранительными органами Российской империи, доставляя необходимые сведения...» Что ты замер? Пустая формальность... А ты думал – что я тебя так просто отпущу? Так не бывает... Давай, не сумлевайся – это же не хуже, чем братца с красоткой твоей упрячь за решетку. Да и не узнает никто – контора как говорится – могила!.. Ха-ха!.. Вот.

Митя послушно, но все же дрожащей рукой дописал все требуемое от него, но когда стал расписываться, перо, самый его кончик, надломилось в его руке, и ниже подписи в виде своеобразной печати появилась фиолетовая клякса.

– Эх, Митя-Митенька, что ж ты так неаккуратно – дворянская гниль выходит? – недовольно пробурчал Евгений Христофорович. – А то все хорохоримся поначалу – а выходит, что на всякого подлеца и свой подлец найдется. Неупустительно-с!.. Неупустительно...

Митя вскоре был отправлен в камеру, где провел, как он скажет позже, «самую страшную ночь в своей жизни». Евгений Христофорович действительно идеально предусмотрел и просчитал все варианты. Деньги от Катерины Ивановны он уже получил, так что оставалось только окончательно прояснить сложившуюся так неожиданно ситуацию. Он выждал пару дней – не объявятся ли Катерина Ивановна и Иван Федорович. Но те, посчитав, что Митя своим глупым побегом и добровольной сдачей полиции все безнадежно провалил, сами поспешно уехали из Омска. Тогда «дело Мити» пошло своим чередом. Его побег был представлен как неудачная «попытка к бегству», вызванная однако «аффективным состоянием больного», что подтверждалось соответствующими справками. С ними проблем не было – позаботился главный врач тюремной больницы, приятель Евгения Христофоровича и тоже, как мы помним, замешанный в это дело. В раздувании же самого Митино дела и доведение его до суда – никто не был заинтересован. Так Дмитрий Федорович и начал отбывать свой срок на каторжных работах Омского острога.

А вот через три года новое «чужачество» Мити будет стоить ему десяти лет каторжных работ – и это после полного оправдания по суду! В это дело будет замешана Грушенька, а Митя едва не задушит уже нам знакомого Евгения Христофоровича, после чего, говорят, его голова ввиду повреждения шейных суставов будет всегда чуть повернута на бок, и он мистическим образом оправдывает свою фамилию – «Бокий». Но мы не будем забегать вперед – предоставим со временем об этом рассказать самому Дмитрию Федоровичу. А пока нужно сказать несколько слов и о нашем главном герое – Алеше.

V

кое-что об Алеше

Итак, я уж было собрался сообщить читателям основные события жизни нашего главного героя – Алексея Федоровича Карамазова, как вдруг почувствовал, что не могу этого сделать. Нет, дело не в том, что мне что-то неизвестно – как раз внешняя сторона событий жизни Алексея Федоровича мне хорошо известна – дело не в этом. А в том, что я совершенно не могу проследить внутреннюю логику этих событий, так сказать, связать девятнадцатилетнего Алешу, которого мы помним по первому роману, с Алексеем Федоровичем современным, 33-трехлетним взрослым мужем. По моему глубокому убеждению, именно внутренняя логика развития человека, логика развития его души и духа определяет его внешнее состояние, до некоторой степени даже определенные события в жизни. Я почти уверен, что когда-нибудь человечество дорастет до такого состояния, во всяком случае, я надеюсь, в представительстве его наиболее благородных слоев, когда мы сможем легко объяснять и проводить параллели между внешними событиями в жизни человека и этапами его духовного развития. Пока это была прерогатива только немногих святых мужей, спасавшихся в монастырях и пустынях, но поведавших нам о сих, кажущихся совершенно невероятными и невозможными связях и соединениях. Я помню, как еще в детстве и отрочестве на меня производили неизгладимое впечатление рассказы о том, как многие из таких «подвижников духа», дойдя до непонятных и совершенно

невообразимых нам, простым людям, высот развития, награждались особыми благодатными дарами – видеть будущее, исцелять больных, воскрешать мертвых..., а получив эти дары, со слезами отказывались от них. Другие из этих подвижников вымаливали у Бога не какие-то особые благодатные состояния, а напротив – болезни и страдания, и, получив их, благодарили Бога как за самые изысканные из всех возможных даров. Третьи, подвергаясь самым невообразимым пыткам и мучениям, просили еще больших, как бы упиваясь и наслаждаясь ими и не в состоянии от них отказаться, как некоторые винопийцы или блудодеи упиваются все большими состояниями пьянства и разврата.

Но это мы, конечно же, воспарили в высоты совершенно невообразимые, еще долго нам недоступные; возвращаясь к нашему герою – получается, что и состояния, кажущиеся легко объяснимыми, иногда совершенно не поддаются логике. Точнее имеют, какую-то свою, нами неуловимую логику, логику, которая, безусловно, связана с внешними событиями жизни, но невероятно трудно поддается обычному умственному объяснению. Да, я теряюсь и признаюсь в этом даже без доли вполне уместного, казалось бы, стыда и смущения – мол, взялся за описание, так будь добр, справишься с тем, что описываешь. Ведь это же абсолютно необходимое для всякого писателя задание! Зачем ставить читателя перед необходимостью ломать голову над необъяснимыми превратностями характеров описываемых писателем героев? Писатель должен сделать это сам – разложить характеры своих героев «по полочкам» и объяснить читателю, что и почему именно на этой «полочке» оказалось, а если он этого сделать не может – то какой он тогда писатель? И не стоило браться – у читателя и своих забот и проблем хватает, чтобы додумывать за писателя то, что он сам должен быть додумать. Не подумайте, что я опять начал кокетничать и прикидываться, что я не знаю то, что на самом деле знаю. Я действительно не могу сказать точно, как с моим Алешей произошло то, что с ним произошло, как из того милого монастырского послушника, которого мы, я надеюсь, еще не забыли, он стал тем... кем стал. Я даже не хочу сразу подбирать какое-то ему определение, которое может повести читателя по ложному следу. Сказать, что он стал – атеистом, революционером, социалистом, циником, развратником, настоящим Карамазовым?... Это все будет отчасти верно, и в то же время совершенно неверно. Он стал чем-то совершенно новым и необъяснимым. Помните, в предисловии к первому роману я говорил, что, возможно, именно такие люди и определяют суть современного времени, времени, где все спуталось, и где частные случаи и чудачества чаще определяют сердцевину событий, чем всеми видимые и всеми признанные очевидности и закономерности? И, возможно, именно подобного рода «чудаки» и являют нам, как любят говорить критики, «наиболее типические типы» наших современников, а также наше современное время в его, так сказать, кульминационном, хотя еще и не до конца определившемся развитии.

В общем, на этом давайте и остановимся. Попробуем все предоставить самой логике событий. Может быть, читатель окажется в некотором роде умнее писателя, и сам сможет получить о нашем главном герое точное представление, гораздо более обоснованное и определенное, чем у автора этих слов. Автор действительно на это надеется.

Книга вторая

С Н О В А В М Е С Т Е В М О Н А С Т Ы Р Е

I

ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Все пытаюсь догнать события и перейти к непосредственному повествованию, но никак не получается. Вот и сейчас вынужден еще раз познакомить читателей с некоторыми абсолютно необходимыми фактами, чтобы не останавливаться на них уже по ходу дела. Прежде всего, нужно сказать о великом событии, которое ожидалось буквально через пару дней с того момента, когда мы начали новое повествование – приезда в Скотопригоньевск государя-импе-

ратора на открытие мощей святого преподобного Зосимы Милостивого, или Зосимы Ското-пригоньевского. Право, и не знаешь, как все это пояснить и с чего начать, настолько все кажется великим, необычным и неукладывающимся в голове. Но начать с чего-то же надо – вот и начнем с последнего.

Да – именно так, уже через год-полтора после погребения, и стали называть в нашем простом верующем народе почившего в Бозе преподобного старца – Зосима Милостивый. Люди стали ходить на его могилку со всеми своими нуждами, молиться ему как живому, а попутно и брать землицу с его могилки, ибо скоро заметили, что она обладает целительными свойствами. Пришлось даже ограничивать это паломническое рвение, так как землицу приходилось все время подсыпать, ибо во время особенно густого наплыва паломников, ее растаскивали почти полностью, а то и даже – что выглядело совсем уж неблагообразным – углублялись и в саму могилу. Тогда сделали так: поставили рядом специальный большой ящик с землей, лишь посыпанной и освященной песочком с могилки преподобного, и тут же – монаха для присмотра, чтобы никто не покушался на саму могилку. Но только умерить рвение благочестивых паломников было очень не просто, так как люди обратили внимание, что святой своей освященной земличкой помогает не только людям, созданным «по образу и подобию» Самого Творца, но, как говорится, «и скоты милует» – то есть помогает и разного рода животной твари, без которой не живет ни один настоящий хозяин. Да, примочки с этой землицей помогали и охромевшим лошадям ямщиков, и сохнувшим от непонятных болезней коровам, ее прикладывали к натертым и загноившимся бычьим шеям и опаршивевшим выменям и соскам коз, и даже к куриным глазным бельмам – и никто не оставался без благодатной помощи святого. Его поэтому и прозвали «Милостивым», как и пелось в акафисте, составленном в его честь – «Радуйся, освященный благодатью Того, Иже и скоты милует...»

Надо сказать, что соседняя могилка Федора Павловича тоже стала подвергаться поначалу малопонятным покушениям этого же рода – ее тоже стали подрывать с разных сторон. В народе возникло такое устойчивое суеверие, что действие благодати святого увеличится, если сначала к больному месту приложить «грешную землю», то есть землицу с могилки Федора Павловича. Это как «мертвая», а потом «живая» вода из русских былин и сказок. Объектом уже чисто языческого поклонения стала и растущая между могилами старца Зосимы и Федора Павловича ветла. Многие, набрав сначала земли с могилки Федора Павловича, старались обхватить ветлу обеими руками, прижавшись к ней как можно теснее – так, дескать, «заряжалась мертвая земля», а потом уже набирали землю с могилки преподобного. Я сам слышал пояснение по этому поводу одной крошечной размерами «странницы» с маленьким сморщенным личиком, похожим одновременно небольшую тыкву и на печеное яблоко:

– Ить, ветла-то соки сосеть, сосеть из обеих-то могилшек. А как грешные соки-то возметь и вздыметь, так и взрогнет вся, то тут же и святые соки от преподобного Миловустишки нашего и смешаеть-то – уф ты... Аж закологривется уся... Ить-то труженно ей – ой, труженно... А она – ить, святить-то, святить-то... И кто к нея груди-то ить прижутелится да покрепче, ой покрепче – так она и его святить-то соками-то своими. Ить-то и мы соками и святы и земляны, ох, земляны. А она смешиваеть, смешиваеть... Да берет силы-то ить от Зосимушки...

Много нашим монахам пришлось повоевать с этим и подобными суевериями, но они искоренялись плохо. Что делать – так глубоко уж слилась в нашем народе православная истинная вера с разного рода языческими «несуразиями». Но главное было несомненно – народ признал Зосиму за святого, и тот доказал свою святость посмертной благодатной, чудесной в своей основе, помощью. Кстати, список этих чудес велся в специальной тетради, хранящейся в монастыре, и этот список постоянно рос. Видимо, поэтому наш новый митрополит, сменивший преставившегося владыку Захарию, владыку Зиновий (у нас, помню, судачили странному звучанию и созвучию их имен) сразу повел дело к церковному прославлению нашего старца.

Одни говорили, что он был тайным поклонником преподобного Зосимы еще при его жизни – дескать, видели его несколько раз приезжавшим к нам в монастырь и как он беседовал со старцем. Правда, были и другие, кто утверждали, что он вел дело к такому скорому прославлению по другим причинам – хотелось, мол, поднять престиж нашей епархии; но, как бы там ни было, его инициатива натолкнулась на вполне понятные трудности. В священном синоде, куда владыка Зиновий отправлял все необходимые данные и формальные представления, не склонны были к таким скоропалительным решениям в виду их беспримерности. И вполне справедливо. И неизвестно, сколь долго бы продолжалась волокита по поводу прославления, если бы не еще одно обстоятельство, которое неожиданно дало ход этому «делу» и привело к его благополучному завершению.

К нам стали строить железную дорогу. Эта дорога была ответвлением от дороги Санкт-Петербург – Москва, и должна была тянуться дальше, к нашему губернскому центру, но к настоящему времени была почти полностью завершена, именно дотянувшись до Скотопригоньевска. Не берусь судить, как там, наверху, окончательно «сложились карты». То ли это была высочайшая инициатива нашего здравствующего государя-императора, то ли все было предложено ему самому, но, как говорят поэты, «звезда блеснула» и «ангел тихий пролетел» – и было принято решение на высочайшее посещение нашего города. Именно – по вновь построенной железной дороге и – на открытие мощей нашего святого Зосимы Милостивого. Мы все понимали, так сказать, высочайший, «идеологический смысл» предстоящего события. В условиях разного рода революционных брожений, нестроений, заговоров и даже покушений на жизнь его Величества государя-императора, его визит должен был показать тесное единство царствующей династии с православным народом на фоне экономических достижений, которые символизировала построенная железная дорога. Мы чуть позже еще поговорим о самой дороге, ибо с нею будет тесно связано наше повествование, а пока еще несколько подробностей из жизни наших главных героев, ибо к этому времени они примечательным образом снова собрались в нашем городе.

Никуда его не покидал, кроме как на время учебы в губернской учительской семинарии, только наш главный герой Алексей Федорович Карамазов. В настоящее время он был учителем и преподавал в нашей городской прогимназии историю. Он жил в доме убиенного отца своего (как сказал однажды: «нужда заставила») вместе со своей женой Елизаветой Андреевной. Мы ее помним как Lise Хохлакову из первого нашего повествования. Они находились в браке уже восемь лет и были бездетны, а поженились через год после того, как неожиданно скончалась маменька Lise, старшая Хохлакова, точнее уже Перхотина-Хохлакова. Обстоятельства ее смерти столь же таинственны, как и романтичны. Говорят, что она умерла от разрыва сердца, когда на ее глазах во время грозы шаровая молния пролетела из комнаты ее первого мужа напрямиком в спальню и затем со страшным грохотом вылетела в окно. Ее настоящий муж, Петр Ильич Перхотин, долго не мог себе простить свое отсутствие в доме в этот роковой час, и после этого трагического и несчастного случая во время любой грозы на его лице застывала скорбная маска. Так вот. Сразу по завершении дней траура Lise и Алеша сыграли свадьбу, а после поселились уже вместе в старом карамазовском доме. В настоящее время с ними жила еще их воспитанница, тоже Лиза, или Лизка, дочка Марьи Кондратьевны и, с ее слов, Смердякова. Но об этом подробнее – в свое время.

Примерно за полтора месяца до описываемых нами событий в город приехали жить Иван Федорович Карамазов и его жена Катерина Ивановна. Мы уже немного знакомы с обстоятельствами их сибирской жизни в связи с попытками устройства бегство Дмитрия Федоровича Карамазова. После этого они все время жили в Петербурге. И вот неожиданно приезжают жить к нам, причем, покупают очень хороший дом прямо в центре города на Соборной площади, который построили лет тридцать назад жившие нам немцы, вернувшиеся к себе на родину. Чем занимался все эти тринадцать лет Иван Федорович – сказать с полной определенностью

трудно. Он неоднократно печатался в столичной периодике, выпустил даже книжку о каких-то сложных вопросах соотношения религии и философии, но эта научная и литературная работа как будто не была главным содержанием его деятельности. А о ее сути ходили полностью взаимоисключающие друг друга слухи – то ли он тайный революционер, то ли тайный мистик-изувер, то ли тайный и весьма высокопоставленный сотрудник охраны. Детей у них с Катериной Ивановной тоже не было (ходили слухи, что у Катерины Ивановны еще в самом начале их брака произошел выкидыш) – и это еще добавляло таинственности к образу Ивана Федоровича в глазах нашей скотопригоньевской публики.

Позднее всех приехал в наш город после завершения своего десятилетнего каторжного срока Дмитрий Федорович Карамазов. Но еще до его приезда вернулась в город и Грушенька (Аграфена Александровна Светлова). Она приехала месяц назад и почти незаметно – как вдруг наши пораженные жители узнали, что она, оказывается, стала одной из наследниц умершего купца Кузьмы Кузьмича Самсонова и получила половину его огромного дома, который и заняла по приезду к ярости многочисленной Самсоновской родни. И дело было не в завещании – мы уже говорили, что старик Самсонов в нем не упоминал Грушеньки вовсе – дело в том, что у нее на руках оказался закладной вексель на фамильный самсоновский дом. Как он у нее появился – загадка. Впрочем, кой-какие подробности можно предположить. Старику для одного из его многочисленных темных делишек, которые он в последнее время проделывал вместе с Грушенькой, видимо, и понадобился такой существенный заклад. Делишко-то он провернул, а вот закладная бумага осталась на руках у Грушеньки. То ли по недосмотру старика, то ли... Может, старик намеренно оставил ее у Грушеньки, чтобы обеспечить ее в будущем помимо завещания, а заодно уже посмертно и неожиданно насолить своей родне. Потому что эта самая родня действительно оказалась в небывалом возмущении и ярости. Впрочем, как оказалось, Грушеньке хватило совсем немного времени, чтобы поставить самсоновскую родню на место и – более того – занять в доме почти то же самое положение, которое когда-то занимал сам старик. Она хорошо знала его дела, и вот уже сыновья Самсоновы стали являться на ее половину за «советами», а точнее сказать, указаниями по ведению тех самых «темных» дел, которыми старик Самсонов, несмотря на свою благообразность, когда-то занимался. Но самую большую загадку для нашей публики являлись ее отношения к Митеньке. То, что они не были женаты – это все знали, а вот что же произошло между ними, и почему эта давняя и кровавая карамазовская история так и не завершилась браком Митеньки и Грушеньки – оставалось тайной за семью печатями.

Итак, последним, буквально накануне в город приезжает Дмитрий Федорович Карамазов. Он останавливается у Алеши в старом карамазовском доме, где Алеша с Lise поселяют его в комнате наверху в мезонине. Читатели должны помнить, что тринадцать лет назад там проживал Иван Федорович Карамазов. Впрочем, Дмитрий Федорович еще никак не мог освоиться, так как уже завтра всех трех братьев специальные монастырские посыльные (трудники на побегушках) еще раз оповестили о приглашении на «открытие мощей преподобного святого старца Зосимы». Они в числе других приглашенных (среди них, кстати, был тоже недавно приехавший в наш город из столицы Ракитин) были включены в «освидетельственную комиссию» в качестве представителей от городской общественности.

II

Новая фреска

Выдался ясный и теплый сентябрьский денек. Алексей Федорович Карамазов метров за сто от монастыря отпустил извозчика и теперь поднимался наискосок к монастырской площади по дороге с утоптанной коричневой пылью и вдавленными в нее высохшими конскими лепешками. Как-то не сразу рука поднимается назвать нашего героя так, как мы его называли раньше – Алешей. Нельзя сказать, что через тринадцать лет он изменился неузнаваемо. Даже

наоборот – внешне он остался похож на нашего, хорошо нам знакомого героя, может быть, только чуть раздался в плечах и в талии, да и шея с чуть обрисовавшимся кадыком приобрела фамильную карамазовскую полновесность. Еще на лице, между бровей прорезалась резкая складка, и уголки когда-то полнокровных, а теперь бледных губ на тщательно выбритом лице были чуть припущены вниз, что придавало его лицу слегка скорбное выражение. Но, несмотря на все внешние изменения – они все же не были главными в том «неузнаваемом» впечатлении, которое производила его сегодняшняя фигура; что-то радикально изменилось внутренне, и эта перемена, пожалуй, резче всего обозначилась в его глазах, в неуловимо *трудном* впечатлении, которое они производили. Глаза эти как бы чуть глубже провалились внутрь, слегка сузились (может быть, это только так временами казалось) и иногда подрагивали едва заметным и видным только внимательному наблюдателю нервным тиком, как бы мигали и двигались чуть по сторонам – не совсем в такт с обычными мимическими движениями. Одет же Алексей Федорович был в новую черную пару с соответствующим им цилиндром – хотя и безукоризненно, но как бы в то же время и слегка небрежно, словно бы по инерции, как бы устав соблюдать необходимые приличия в одежде.

Алеша шел неторопливо и слегка задумчиво. Последние несколько лет он почти не бывал в монастыре, и только в последнее время накануне подъема мощей его иногда можно было увидеть, впрочем, не в храмах, а больше у могилок отца и преподобного старца Зосимы. Чем ближе к монастырю, тем больше попадалось народу, пешего в основном и толпящегося рядом со стоящими под деревьями телегами и бричками. В основном крестьяне, хотя тут и там виднелись купеческие пролетки и мещанские тарантасы. В одном месте, около оврага, стоял даже внушительный цыганский фургон с разноцветным, прорванным в нескольких местах, полом. Люди собрались со всей ближайшей округи, так как знали, что сегодня будет поднятие мощей. Разумеется, внутрь монастыря никого из простых не пускали, народу даже не было известно, пустят ли хотя бы к вечеру – приложиться к уже поднятым мощам, но люди надеялись и продолжали стекаться к монастырю, помимо тех, кто уже заночевал под его стенами. Надо сказать, что и сам монастырь за эти тринадцать лет существенно изменился. Главная перемена – на месте старых монастырских ворот была выстроена большая надвратная церковь, освященная в честь великомученика и целителя Пантелеймона. Перед этой церковью образовалась небольшая площадь, на другой стороне которой была построена гостиница. Гостиница эта специально была спроектирована так, чтобы четко разделить благородную публику от простой, которая вынуждена была от реки подниматься к гостинице с ее торца и по не очень удобной дороге. Говорят, на все эти постройки и благоустройства пошла львиная доля средств из завещания Федора Павловича, а на самой гостинице хотели поместить памятную табличку по этому поводу, но как-то эта идея сошла на нет. Вроде как наш новый игумен – а им теперь был хорошо известный по нашему первому повествованию, духовник отца Зосимы отец Паисий – был против и сумел противостоять давлению свыше. А давление было, так как постройки формально осуществлялись под руководством епархиального начальства и непосредственно под наблюдением владыки Зиновия, и от игумена монастыря мало что зависело в планах по его реконструкции и благоустройству.

Выйдя на монастырскую площадь, Алеша из-за большого скопления народа вынужден был притормозить. Воскресная поздняя обедня закончилась уже давно, но народ не расходился. Единственно, где ему позволялось быть – в надвратной церкви, куда был открыт доступ, и откуда слышалось молитвенное пение. Проход же в монастырь наглухо был оцеплен линией полицейских и жандармов. Дожидаясь, пока проедет пересекающая площадь телега, Алеша невольно остановил взгляд на одной крестьянке, которая стояла на коленях и немигающим взглядом уставилась на поднявшееся над лесом солнце, как то странно сжав руки в кулачки у себя на груди. Кулачки эти в каком-то рваном ритме постукивали выступающими костяшками пальцев друг об друга, лица крестьянки же из-за неудобной точки обзора было почти

не видно, зато за ее спиной был перекинут свернутый из грубой холстины кошель, в котором спала девочка. Но она, то ли была засунута туда так небрежно, то ли выпросталась сама, и теперь ее голова и одна голая ручка вывалились оттуда и висели почти отвесно к земле, чего незадачливая мамаша как бы и не замечала. Алеша хотел, было, тронуть ее, как почувствовал, что его остановили за плечо.

– Приветствую учительскую интеллигенцию! Так сказать – от писательского корпуса братьев по оружию. Что тоже вовнутрь? Понятно, понятно. Оно и надо. Станем свидетелями очередного монашеского эксгумационного мракобесия... Да, старик?..

Алешу остановил Ракитин, и теперь, чуть нависая над ним, со слегка преувеличенным чувством жал ему руку. Как и Алеша, он изменился внешне не очень сильно, но, так сказать, в противоположном направлении – высох, стал поджар и долговяз. Голова его была непокрыта, и было заметно, что жирноватые волосы стали заметно редее, зато по бокам щек красовались, видимо, хорошо подкрашенные черные бакенбарды. В отличие от Алеши он был одет подчёркнуто небрежно, в каком-то сером плаще или даже балахоне, словно намеренно манкируя предстоящие церемонии. Из оттопыренного внешнего кармана виднелся блокнот с какой-то мудреной, ослепительно поблескивающей колпачком ручкой, из тех, что непременно выписываются или приобретаются за границей и заправляются специальными чернилами. Ракитин приехал из Петербурга с полмесяца назад, видимо, специально по этому случаю. Кстати, имея, так сказать, и формальные основания. Еще десять лет назад по поручению епархии он написал «Житие почившего в Бозе старца Зосимы», житие, как утверждали многие, не лишенное даже и «литературных достоинств». Ракитин некоторое время еще не отпускал Алешину руку.

– А признайся, бывший схимник – не екает, нет?.. А? Ведь и у тебя старец-то по молодости из души веревочки вивывал. Помнишь, как рыдал ты здесь где-то – там под соснами? Помнишь? Быдто не помнишь?.. И бунтовать грозился! Эх, молодость, молодость!..

Голос у Ракитина тоже немного изменился – ушла чрезмерная резкость и частотость, зато появилось что-то более нагловатое и развязное, хотя в то же время и настороженное. Алеша кивнул и ответил Ракитину едва обозначившейся кривоватой и неопределенной улыбкой. Глаза при этом как-то заметно и не очень приятно для Ракитина дрогнули. Тот, всматриваясь в лицо Алеши и в свою очередь неприятно над ним нависая, еще какое-то время тряс руку, а затем совсем наклонился к Алешиному уху:

– Что Лексей Федорыч? Не мальчики же мы теперь – знаем, по чем фунт изюму... Будут неожиданности государю-императору – ведь так? Каракозов знал бы – прибежал учиться...

– Ты о чем, Миша? – наконец, сдержанно ответил Алексей.

– Быдто не знаешь?.. Знаю-знаю о горячем приеме. – Ракитин сделал паузу, во время которой отстранился от уха Алеши и снова потянул его за руку. – Эх, не доверяешь ты мне, – конспиратора играешь. А ведь на что мы с тобой – чуть побратимы были. Крестами менялись. Али забыл? Или ты пера моего не оценил? Читал ведь, читал?.. Скажи – ведь читал же, следил – а?.. Ведь не мог не следить – а?!..

– Читал и следил...

Ракитин расхохотался. И в этом хохоте было что-то самодовольное и в то же время как бы обидчивое.

– Ладно, оставим. Пойдем, покажу тебе одну шутку человеческой природы... Аллегория христианского сребролюбия. Я бы сказал – невероятную игру монашеской жадности и новохристианского искусства, кстати, хочешь – и с автором познакомлю? Он тоже должен быть здесь – икону Зосимы ему ведь заказали – не знаешь?..

И Ракитин, почти расталкивая довольно плотно стоящих людей, потянул Алешу прямо к входу в надвратную церковь, у входа в которую однако остановился и следом размашисто и небрежно перекрестился. Алеша вошел в храм, не положив на себя креста, а только как-то нервно и резко наклонив голову.

– Напрасно, старик, манкируешь так открыто, – уже на лестнице зашептал ему Ракитин, беспокойно поводя глазами из стороны в сторону. – С волками жить... Так и дело можешь выдать раньше времени. Ты думаешь, я эту монастырскую гниль не за грязь считаю?.. Ох, уж я-то всего нахлебался еще в семинарке. Я тогда еще знал, что когда-нибудь буду сметать ее... метлой поганой. Братец Иван твой – кстати, он, кажется уже здесь – хорошо когда-то выразился, что монастыри – они только для эмблемы и существуют. Чтобы освящать мерзость всякую – иначе давно смели бы эту гнилятину...

– Он – что, действительно так говорил? – словно немного задержавшись, спросил Алеша, едва поспевая за долговязым и как-то сильно сгибающимся на каждой ступеньке становом Ракитина. – И когда?

Но Ракитин сделал вид, что не расслышал вопроса. Тем более что они уже и достигли запланированного места. После второго пролета лестница выходила в небольшой придел, непосредственно перед основным помещением храма. Точнее, это была часть того же храма, только отделяемая от основного помещения двумя массивными колоннами. Здесь, у западной стены, толпились люди вокруг монастырской лавочки, где шла бойкая торговля. Надо сказать, что преподобный старец Зосима еще до своего прославления стал, как бы поточнее выразиться, торговой маркой монастыря. Сначала в целях упорядочивания безудержного растаскивания земли с места его погребения, стала в небольших матерчатых мешочках продаваться земля с его могилки. Потом платочки, рукавички и балахончики, освященные на сохранившихся вещах преподобного. Для беднейших слоев – в широком ходу были лапти и, как у нас тут называли, «чуры» – войлочные чулочки, напоминающие валеночки. В монастыре появилась целая мастерская, занятая пошивом и изготовлением подобных изделий, продажа которых доставляла немалый доход. Из последних нововведений – стал выпекаться специальный монастырский «хлебушко» (у нас так было принято его называть), освященный и замешанный на чугушке преподобного, причем, как ржаной – для беднейших слоев, так и пышная сдоба – для благородных сословий. И все это хорошо торговалось как в самом монастыре, так и в нескольких выездных монастырских лавочках. Ракитин, дав время Алеше чуть обозреть картину торговли, поймал его взгляд и кивком вывел его вверх на западную стену, которая в верхней части загибалась под полукупол надвратной башни. На ней только совсем недавно законченная свежая фреска изображала Христа, изгоняющая торговцев из храма.

– Ха-ха-а!.. – сдавленно захрипел Ракитин в ухо Алеше. – Ну, каково – а?.. А эти монашки тупые, торгуют, как ни в чем ни бывало!.. И монашеское брюхо до денег не глухо. Христос их гонит, а они торгуют!.. Оно бы и ничего, все так делаем, только мы рыла ханжеские не строим. Ай, да молодец Смеркин... Ну, талантище же!.. Ты присмотришь, присмотришь – ничего не замечаешь – а?..

Алеша присмотрелся. Христос на фреске, расположенной как раз над торговой лавкой, замахивался крестом, а как-то уж очень живо изображенные торговцы со странными лукавыми улыбочками, подхватывали свои деньги, разлетающихся голубей, разбегающихся во все стороны овец...

– Ты смотри, – продолжал, чуть не захлебываясь, шептать на ухо Алеше Ракитин, – видишь сходство? Смеркин же тут чуть ли не ярманку устроил, кого изобразить, так сказать, запечатлеть в вечности. Вон видишь, того толстого с клеткой – никого не напоминает?.. Да это же наш Нелюдов – да, Николай Парфеныч!.. Ха!.. А похож ведь – а!?!.. А вон и Сайталов – вон, смотри с коровой, с рогом – видишь?.. А Коновницын – да-да, Мокей Степаныч – вон, убегает вполборота с воловией упряжью. А это – кто?.. Смотри прямо – под Христом, с кошельком – ну?!.. – Ракитин замер даже словно с трепетом.

– Ты? – Алеша узнал, наконец.

– Ха-ха!.. – а ведь неплохо же!.. Эх... Я, старик, тоже – едва, кстати, успел перехватить – перебил от судебного заседателя. Хотя и стоило мне это, правда... Смеркину пришлось зама-

зывать уже почти законченное. Ха-ха!.. Нет, правда!.. Смешно же. Христос нас гонит, а мы тут как тут. Он – в дверь, а мы – в окно!.. Хоть так насолим всей этой религиозной синкли-тинщине!.. Да и жизнь – дело брэнное... А искусство вечно!.. А – Алешка!?!.. Останемся в вечности?!.. Будут еще наши потомки глядеть и смеяться – вон мой папочка, а вот мой дед. Накопили для нас денежки – и Христос им по глупости так ничего и не мог сделать...

Они уже вышли внутрь монастыря через другой, закрытый для простой публики выход, где им поклонился, сторожащий этот проход монашек.

– Эх, старик, – продолжал разглагольствовать Ракитин, когда они уже шли к монастырскому кладбищу, где издали были видны монахи и приглашенные светские, – а ведь, право, иногда жаль старика Зосиму. Ведь неплохой же был – а?.. А служил гнили!.. И ведь сознательно же служил – не по глупости. Видел гниль, но служил ей!.. Как так можно?.. Знаешь, я, когда читал эти его *«Мысли для себя»*, так зубами скрежетал. Уже когда списывал тогда ночью – уже тогда скрежетал. Торопился страшно, а скрежетал...

– Ты все успел написать?

– Все как есть, да там и немного-то. Просто и другой всякой писанины – и все за ночь-то нужно было успеть, все под опись... Знаешь, мыслишка мне недавно пришла такая крамольничья... Зосима потому и провонял тогда, тринадцать лет назад, что у него были эти записочки. Так абы – и прямой связи нет, а ведь как и есть что... Держал там в темноте при себе мыслишки свои, неформенные для образцового монаха, вот они – хе-хе – и вылезли так неожиданно... Проявились, так сказать, материальным образом... А – что думаешь?

– Ты в жизнеописании Зосимы об этом не упоминаешь... О другом настроил...

Ракитин в ответ на это расхохотался.

– Смешишь меня, старик... Еще бы вспомнил... О-ха-ха!.. Строчил... А по поводу настроил... (Его, похоже, все-таки задело это «определение» Алеши.) Это я сейчас научился строчить так, что как Юлий Цезарь могу еще два дела делать окромя. Иногда ловлю себя – рука сама пишет, а я потом с удивлением читаю, что там под пером вышло... Правда, сейчас сам пишу уже все реже. Всему свое время, старик. Эх, черт возьми, прав был Иван – хоть и не люблю я его – а как в воду глядел!.. Даже завидно, как так видел!.. Ведь я и впрямь уже доходный домик-то себе присматриваю. Строить только сам не буду. Подряд возьму – на уже почти готовый...

Ракитин шумно вдохнул с какой-то полумечтательной улыбкой и перестал частить языком. Ему, видимо, приятно было чуть задержаться на внутренних ощущениях. А судьба его действительно оказалась практически слово в слово предсказанной тогда, тринадцать лет назад, Иваном. Уехав в Петербург, он недолго перебивался на скудных харчах корреспондента одного из толстых петербургских журналов либерального толка. Уже через пару лет он стал компаньоном главного его редактора – через связь с его женой. Эта история в журналистских кругах стала чуть не хрестоматийной. Он просто пригрозил опубликовать в другом журнале статью о том, как редактор «по-фамусовски» и «скалозубски» (он употребил оба термина из известной поэмы) третирует свою жену, не давая ей жить «полной жизнью», свободно определяя свою судьбу в том числе и со своими любовниками. И это при том, что она состояла в законном браке! Но на то и был расчет. Расчет жестокий и циничный, но полностью попавший, что называется «в точку». Редактор, гордившийся своим либерализмом, воспитанный на Чернышевском с его «снами Веры Павловны» и ее метаниями со «свободной любовью» между двумя возлюбленными, просто не смог выдержать бы такой удар по своей либеральной репутации. Результатом шантажа Ракитина стал перевод половины активов журнала на его имя. Дальше – как говорится, дело техники. Еще за пару лет он «дожал» своего бедного либерала, вынудив его оформить лицензию и переписать на его имя и все оставшиеся активы. Жену его, кстати, он бросил сразу после благополучного разрешения этого «дела». Сейчас Ракитин был уже не только главным редактором, но и «директором» издательства, а также хозяином половины дома, где находились эти редакция и само издательство.

ІІІ

подъем мощей

Между тем старые знакомцы уже прошли через монастырское кладбище к стене, где и должно было состояться поднятие мощей. Церемония уже началась. Трое монахов почти раскопали могилу преподобного Зосимы и осторожно подавали землю наверх, где ее подравнивал какой-то широкоплечий юноша-трудник. Еще несколько монахов осторожно носили землю на специальный настил – она должна была разойтись по мешочкам и принести сугубый доход монастырю. У изголовья могилы часть братии во главе с игуменом Паисием читали и выпевали кондаки и икосы акафиста в честь святого преподобного Зосимы Милостивого. Остальная братия молилась в основном по правую сторону раскапываемой могилы. Слева стояла приглашенная светская публика, среди них в первом ряду – Иван Федорович Карамазов. Он изменился заметнее Алеши. Не то чтобы сильно растолстел, но как-то обрюзг, раздался вширь, заметная седина виднелась на прежде идеально черных волосах, а на лице появилось какое-то новое трудноопределимое выражение досады. Может быть, благодаря тому, что нижняя губа у Ивана Федоровича чаще всего находилась в напряженном и поджатом состоянии, словно бы он постоянно ее прикусывал.

Вел службу владыко Зиновий. Это был массивный и еще не старый монах с широкой черной бородой и лицом, дышавшим здоровым румянцем. Он то и дело подходил к могиле и кадил на нее широкими взмахами массивного кадила, клубы дыма из которого все время сносило по левую сторону к изображавшей благоговейное внимание публике.

- Радуйся, странное чудо являючи всех притекающих к тебе с верою;
- Радуйся, спасти хотя души всех одержимых нечистыми духами;
- Радуйся, отче Зосиме, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших!..

Отец Паисий делал напряженный акцент на слове «Радуйся!», как бы пытаясь убедить себя и других, что надо радоваться, несмотря на все сейчас происходящее. Он несколько раз пытался отговорить владыку Зиновия от такой «церемонии» поднятия мощей. Но тот и слышать не хотел о «древнем афонском чине», когда присутствует только монашеская братия, когда выпеваются все положенные уставы и прочитывается все Евангелие, а косточки сразу же исследуются, а потом складываются в костницу. «Не те обстоятельства! – несколько раз, и последний раз уже твердо, возражал владыка игумену Паисию. – Государь-император прибывает – понимать надо, отец игумен!»

Между тем в могиле показался гроб, и монахи расчищали его осторожными движениями лопат. Дубовая двусторонняя колода, которую еще при жизни заказал себе отец Зосима, через тринадцать лет, оказалась практически нетронутой тлением. Разве что почернела против прежнего. Многие из здесь присутствующих, были и при погребении отца Зосимы, и легко могли это подтвердить. Однако неожиданно проявилось обстоятельство, о котором у нас после было много толков. Откуда-то постепенно и все больше и больше набежало множество мышей. Они всегда жили внутри и под монастырскими стенами, легко находя себя ходы, лежки и лазейки в крошащемся песчанике, и, видимо, производимые раскопки потревожили их, так что в мышинном многочисленном семействе началась настоящая паника. Мыши появлялись словно бы ниоткуда – и из разрытой земли, и из под самой стены, по которой многие карабкались вверх, метались над поверхностью могилы, иногда срываясь и шлепаясь прямо на спины и лопаты орудующих внутри могилы монахов. Даже владыка Зиновий заметно отшатнулся, когда целая россыпь коричневых комочков неожиданно бросилась прямо ему под ноги.

- Присыпать бы чем?
- Заранее надо было бы.
- Это знак какой-то.
- Срам монашкам-то нашим...

Это в светской публике началось чуть заметное волнение, хотя монашеская половина сохраняла невозмутимое спокойствие, разве что голос отца Паисия стал более скорбен и звучал с еще большим напряжением. Ракитин, стоящий во втором ряду недалеко от Алеши и почти за спиной Ивана вытащил свою записную книжку и с плутоватой едва заметной улыбкой черкнул что-то в ней. При этом старался поймать взгляд Алеши, но тот, казалось, ничего не замечал, тревожно поглядывая на пространство между могилой и стеной, где орудовал лопатой молодой трудник. Тот несколько раз хлопнул этой лопатой по особо многочисленным мышинным скоплениям, потом, поняв, что это бесполезно, стал загребать их вместе с землей в лопату и относить на настил.

- Радуйся, Церкви Христовой перл многомудрый;
- Радуйся, всем сердцем предатель еси ся Богу;
- Радуйся, страдания в радость обращающий...

Отец Паисий не сдавался, возвышая голос. Заметно было, как его левая рука буквально впилась в аналой, собрав на нем в складки алую накидку. Между тем гроб осторожно подняли из могилы, которую тут же закрыли большим деревянным настилом, а сверху принесли и поставили покрытый золотой парчой постамент, на котором покоилась посребренная рака преподобного. Она была заказана и сделана на пожертвования государя-императора и членов императорской фамилии. Гроб преподобного, уже обметенный от земли, поставили рядом с ракой. Начиналось самое захватывающее – это было видно по поведению публики. Когда трудник с помощью топора начал приподнимать крышку, стараясь проверить крепость держащих ее гвоздей, все как по команде стали подниматься на цыпочки, чтобы не пропустить момент, когда обнажится для взоров внутренняя часть гроба преподобного. Давно сгнившие гвозди совсем не держали верхнюю половину гроба, и когда четыре монаха осторожно убрали ее, все присутствующие на церемонии невольно замерли. Взоры буквально воткнулись во внутреннее пространство гроба. Первое, что сразу бросилось в глаза – белый череп преподобного Зосимы. Он так ярко белел, что казался подкрашенным молочной известью. И это по контрасту с черным куколом из под которого он выглядывал, и черным широким монашеским венчиком с большим белым крестом посередине. Это тем более было удивительно, что лицо преподобного – все хорошо помнили – было закрыто при погребении черным «воздухом». Впрочем, остатки его виднелись, кажется, по бокам черепа, а сам же череп был немного скошен влево и вбок, в сторону светской публики и как бы искоса на нее поглядывал. Сохранность материи над головой преподобного была тем более удивительна – по контрасту с остальной частью тела. Ниже головы – хотя это и трудно было разглядеть подробно, находился практически один прах. Все монашеское обличие сгнило и, перемешавшись с прахом, оставшимся от тела, покоилось на дне гроба. Даже кости от ребер – и те осыпались внутрь и бесформенно лежали внутри гроба вместе с наперсным крестом и отдельными бусинками рассыпавшихся четок. Никто, конечно, не ожидал, памятуя тлетворный дух при погребении, увидеть сохранные «мироточивые мощи», но все-таки степень разложения «святых останков» произвела угнетающее впечатление даже на самую благоговейную часть собравшейся публики.

– Всею душою возлюбивый Бога и всем сердцем предав еси ся служению Церкви Христовой, не ты же, яко пастырь добрый не отринул еси бедами отягченных, но предстательствуеши в молитвах пред Господом, вознесе тя на высоту духовного совершенства, даруеши исцеление и утешение всем страждущим. Мы же видящие в тебе дарованную Божию силу, вопием ти сице: Радуйся волшебных козней разрушителю; Радуйся страшных бесов прогонителю. Радуйся, всем сердцем Христа возлюбивый; Радуйся нудугующим и расслабленным поможение. Радуйся, яко светом невещественным души просвещаеши; Радуйся, заблудших на путь правый наставляеши. Радуйся, к сомну святых сопричтенный; Радуйся Трисиянным Светом озаренный. Радуйся, преподобный отче наш Зосиме, скорый помощниче и молитвенниче о душах наших...

Под глазами отца Паисия, кажется, выступили слезы, а голос дрожал со всем возможным напряжением. Между тем останки отца Зосимы были осторожно переложены монахами в раку под новое схимническое облачение. Но произошла еще одна, как скажут об этом после, «непристойность» и «безобразие». Молодой трудник, отлучившись неподалеку, зачем-то принес сюда старого монастырского кота, чаще всего гревшегося на дровянике у монастырской кухни. Наверно, он рассчитывал, что вид кота каким-то образом образумит и успокоит мышей. Но вышло обратное. Сибелиус, как почему-то называли этого жирного и ленивого представителя кошачьего племени, при виде такого обилия мышей совсем обезумел. Даже не мяукая, а как-то утробно сипя, он стал метаться по свободному пространству, не хватая мышей, а словно бы бия их лапами. При этом он вопил как-то уж совсем не по-кошачьему и то и дело подскакивал вверх всем своим массивным телом с торчащей дыбом шерстью. Он словно не мог поверить свалившемуся на него кошачьему счастью и как козел между двумя пучками сена не знал, за какую мышь ухватиться. Наконец тот же трудник огрел его лопатой, и он, все-таки захватив в рот, кажется, сразу пару мышей, взлетел на ветлу, откуда продолжал истошно сипеть. Ракитин, давя глумливую улыбку, снова полез за блокнотом, а потом взглянул на Алешу. И сразу же стал серьезен, подозрительно и внимательно всматриваясь сначала на его лицо, а потом по направлению его взгляда. Алеша смотрел на ветлу, только не на сипящего там кота, как большинство глазевшей туда публики, а на окружающую его листву. Она как-то странно для этого времени года частью подвяла, частью пожелтела, причем, именно начиная с ветки, на которой сидел кот, и дальше по направлению к вершине. А некоторые узенькие желтоватые листочки под едва заметным ветерком иногда отрывались и облетали вниз, планируя и кружась в душноватом воздухе.

Iv

изгнатель бесов

После завершения подъема мощей до «званого обеда» у владыки Зиновия (что по сути был ни чем иным как праздничным банкетом), оставался еще час времени. На этот обед была приглашена вся светская часть публики, присутствовавшая при открытии мощей и некоторая избранная монашеская братия. Владыка сам громогласно объявил, что всех ждет к себе, предложив отдохнуть после службы в тени монастырских аллей. Старый гроб был унесен, а над мощами преподобного тут же стала сооружаться деревянная сень. Как-то так непреднамеренно получилось, что оба брата Карамазовых – Алеша и Иван, пересекшись с отцом Паисием и отцом Иосифом, были одновременно званы ими «посмотреть» келью преподобного Зосимы, где предполагалось создать его музей. Туда все и отправились вместе со сразу увязавшимися за ними Ракитиным (он не отходил от Алеши) и господином Калгановым. Мы помним его молодым двадцатилетним юношей, сопровождавшим 13 лет назад Петра Александровича Миусова, а потом кутившим вместе с Митенькой и Грушенькой в Мокром. Кстати, о Миусове. Он почти сразу после суда над Митей уехал за границу, где и скончался четыре года назад, оставив Петру Фомичу Калганову приличное наследство (говорили, тысяч до шестидесяти), ибо других, более близких родственников, у него не оказалось. Что касается самого Петра Фомича, то теперь это был тридцати трехлетний богатый помещик со всеми, кажется, атрибутами преуспевающего и богатого «барина», живущего в городе. Прежним «мальчиком» уже не пахло: это был дородный, обремененный большим семейством глава семьи, чья жена, говорят, до того брала над ним верх, что порой и бивала – иногда даже и прилюдно. Но это не мешало ему благополучно расплыться в размерах и – главное – сохранить жизнерадостность. Кроме этого он был преданный и благоговейный, как он сам себя называл, «друг монастыря», и многие монастырские постройки последнего времени были осуществлены благодаря его прямой материальной поддержке.

Вся группа во главе с отцом Паисием, пройдя внутренний двор монастыря, стала выходить через проход у надвратной церкви, где их, почтительно наклоняя головы, приветствовали только несколько жандармов из всех, стоящих в оцеплении. Остальные подчеркнуто застывали, как бы демонстрируя непоколебимое служебное рвение. Снаружи толпа заметно выросла. Она уже кое-где стояла вплотную к монастырским стенам, заполняла почти всю примонастырскую площадь и продолжала увеличиваться. Люди подходили и подъезжали – больше подходили, все чаще издали и сразу вливались в толпу. Вся противоположная гостинная сторона была густо заставлена телегами, бричками, пролетками и каретами. Завидев вышедшего за ворота монастыря игумена, которого некоторые узнали, кое-кто поспешил, было, к нему за благословением, как неожиданно внимание толпы было увлечено совсем в ином направлении. Раздался громкий звон разбитого стекла, и в свете яркого почти полуденного солнца было видно, как слева от надвратной церкви, в окне рядом расположенной кельи, ослепительно блеснули и с мелодичным звоном посыпались по стене осколки. Какая-то дама в белом открытом платье с подшпиленным сзади хвостом стала было продираться назад сквозь толпу, но была ею с руганью задержана. Вслед – еще внутри надвратной церкви раздался нарастающий рев, и наконец, на ее входные порожки выбежал отец Ферапонт...

Здесь нотабене. Прошу прощения у читателей за эту остановку нашего повествования, но не могу не сделать и здесь необходимые пояснения. С отцом Ферапонтом за это время произошла удивительная и довольно примечательная метаморфоза. (Я не большой сторонник иностранных слов, но некоторые из них как-то ближе к сути явлений, чем прямые русские слова, может быть, благодаря таинственности своего звучания.) Мы помним отца Ферапонта, как сурового отшельника, жившего за пасекой отдельно от монастыря в некоей даже оппозиции к нему, особенно в оппозиции к отцу Зосиме. Теперь же он проживал внутри монастыря, точнее – в отдельной просторной келье, непосредственно примыкавшей к надвратной церкви и составлявшей с нею единый архитектурный ансамбль. Из его кельи был даже прямой выход в храм через боковые двери церкви. Внешне отец Ферапонт изменился за эти тринадцать лет мало; несмотря что ему уже было далеко за восемьдесят, сохранил какую-то трудноописуемую, но несомненно присутствующую и мало зависящую от возраста «мужицкую» твердость и яркость. Из изменений – разве что прибавилось морщин, глаза еще больше таращились и вылазили порой из орбит, да нос как-то неравномерно забугрился – и даже не седины, а скорее «желтизны» – прибавилось в волосах и разметанной кустистыми клоками бороде. Но самой примечательной оказалась «смена деятельности», благодаря которой отец Ферапонт тоже стал своего рода «маркой» монастыря, во всяком случае, его несомненной достопримечательностью, привлекавшей к нему немалое число преданных, хотя и весьма специфических паломников. Отец Ферапонт занимался «отчитками», иначе – изгнанием бесов из бесноватых, которые, именно эти отчитки, и проводил в нашей новой надвратной церкви. Эта способность у отца Ферапонта проявилась почти случайно. Каким-то образом, несмотря на все запреты для женского пола, к нему однажды в хибарку пробралась одна страждущая безутешная вдова со своей бесноватой десятилетней дочерью. Отец Ферапонт сначала пришел в ярость, но начавшийся приступ беснования у девочки, видимо, все-таки умерил его гнев. На глазах у стоящей на коленях плачущей матери он схватил почти бессознательного ребенка и с дикими восклицаниями: «Изыди, змеиподателю!..», стал буквально бить ее головой о растущий у его хибары вяз. Мамаша сначала испуганно и благоговейно замерла, но вскоре задрожала от ужаса, так как сила ударов Ферапонта явно превышала возможности выдержки малолетней девочки. Наконец, когда та уже совсем потеряла сознание и заболтала разбитой до крови головкой, мамаша не выдержала и с визгом бросилась вырывать свое чадо от отца Ферапонта.

– Изыди, сатанопуло!.. – рявкнул и на нее Ферапонт и так огрел ее по лицу свободной рукой, что та тоже рухнула ему под ноги. Девочку бить, однако, перестал, а приподняв мать и дочь, зачем-то стукнул их лбами друг от друга и стал неистово крестить, что-то бормоча и раз-

махивая руками, пока обе более менее не очухались. Удивительное дело, но после этого «сеанса исцеления» беснования у десятилетней девочки прекратились, а благодарная мать с синяком на пол-лица разнесла по всему нашему городу молву о новоявленном целителе. И вот уже разными правдами и неправдами к отцу Ферапонту потянулись страждущие подобным недугом. Возникла даже некоторая «заочная конкуренция» между почившим отцом Зосимой и живым изгнателем бесов, который не считал за стыд скрывать свою «ревность» по этому поводу, заявляя, что сатану любовью не изгоняют, а только «залащивают». Но у простого народа было собственное мнение. Считалось, что помогает и тот и другой, но для полного и окончательно исцеления нужно обязательно пройти отчитку у отца Ферапонта. Особенно тяжело приходилось бесноватым женщинам, точнее их сердобольным родственникам, которым чтобы увидеть отшельника приходилось, на что только не идти. И вот, наконец, случилось долгожданное – после построения Пантелеймоновской церкви, снисходя к «умолениям» страждущего народа, отец Ферапонт еще при старом игумене «вышел в мир», как он говорил – перебрался из своей совсем уж развалившейся хибары в «гробы каменные» – келию рядом с самой церковью. А сам процесс целительства был поставлен, что называется, на поток – отчитки проходили по заранее составленному расписанию с предварительной подачей «списков бесноватых» и соответствующих пожертвований. Обычно это были субботы. Сам процесс отчиток был настолько специфичен, что многие бесноватые после них выходили буквально избитыми.... Впрочем, надеюсь, мы как-нибудь найдем время в нашем повествовании для их подробного описания.

Что касается истории самого вопроса об изгнании бесов, то необходимо здесь сказать следующее. В православной церкви всегда настороженно относились к «отчиткам» как таковым и по вполне справедливым основаниям. Даже в жизни величайших святых случаи изгнания ими бесов, описанные в их житиях, достаточно редки. Как известно святой Сергей Радонежский чтобы изгнать беса из какого-то купца собирал всю монастырскую братию на молебен. А тут получается, что это чудо – а ведь это действительно чудо, так как неподвластно обычным человеческим силам и совершается токмо Божией властью – как бы ставится на поток и происходит чуть ли не по расписанию. Есть в этом что-то сомнительное и даже соблазнительное. Но отец Ферапонт в эти богословские тонкости не вдавался и, видимо, не сомневался в своих способностях, поэтому, когда новая церковь была построена, при протекции прежнего игумена (его пару лет назад перевели в другой монастырь на место умершего там архимандрита) занялся своей «бесогонной» деятельностью. Отец Паисий, ставший игуменом, хоть и был резко против отчиток как таковых, ничего поделать уже не мог. Народная молва вкупе с протекцией владыки Зиновия держали его с двух сторон как в клещах. Что касается современного момента, то отец Ферапонт, прослышав о намерении поднятия мощей преподобного Зосимы, хоть и побурчал что-то о «залюбованном загнившем старце», что сатану только «любовая залащивал», но открыто выражать свое недовольство не стал. Однако не удержался от «пророчеств», что, мол, «старец-то отрухлявил совсем», что «прахом его монастырь засмердит», что «гнилые косточки негоже из земли нудить». Не знаю, успели ли ему сообщить о результатах подъема мощей, – эти известия могли его хорошенько приободрить.

В этот день после литургии он не пошел на открытие мощей, а остался в своей келии, где проводил «приемы по записи». Это тоже была его практика для состоятельных страждущих. И как раз сейчас там и произошел инцидент, на котором мы приостановили наше повествование. Сначала к нему в келию поднялась женщина, которая была одета не просто по монастырским меркам «нарядно» – с открытой шеей и полуоткрытой грудью, прикрытой только полупрозрачным газом, но еще и с той степенью безвкусицы и вызова, по которым легко угадывается женщина соответствующего поведения. Что ей нужно было от отца Ферапонта – оставалось только догадываться, но она недолго пробыла в его келии и вскоре чуть не выбежала от него, красная то ли от гнева, то ли даже от ярости, коим она и дала выход, уже оказавшись под окнами Ферапонтовской келии. Камень, запущенный ею, как-то удивительно точно попал в новенькое

стекло цельного полукружия одного из двух окон келии, чем вызвал ответную ярость отца Ферапонта, выскочившего вслед за женщиной на церковное крыльцо. Далее продолжим наше описание...

На этот раз вместо обычного массивного креста в руках у отца Ферапонта был «посох» – большая, лоснившаяся и почерневшая от долгого употребления ореховая палка. Поводя выкатившимися глазами из стороны в сторону и наконец, увидев задержанную какими-то мещанами женщину, он дико заорал:

– Блудница!.. Блудница вавилонская!.. Прочь, дочерина блудомерзкая!..

Народ, сначала оторопевший от всего происходившего, даже подался назад – так необычайно грозен выглядел отец Ферапонт, потрясавший своим посохом. Отец Паисий и вся компания, следовавшая за ним, остановились шагах в восьми от этой сцены. Ракитин, вытянул голову, даже поднялся на цыпочки, чтобы лучше все рассмотреть – он шествовал последним. Женщина, истерически взвизгивая, сначала пыталась вырваться из плотно держащих ее рук, наконец, застыла, исподлобья и с ненавистью вглядываясь в стоящего на порогах церкви своего противника. Однако ей на помощь уже спешила коляска, запряженная парой лошадей, в кресле которой сидела еще одна женщина. Люди едва успевали раздаваться и разбегаться из-под копыт и кнута какого-то явно неместного залихватского кучера, весело кричавшего:

– Поди! Поди!..

Лицо сидящей в креслах женщины, было едва видно из-за шляпы с какими-то невиданными страусиными перьями, но поравнявшись со своей, видимо, напарницей и державшими ее бородатыми мещанами, она сдвинула шляпу на бок, почти скинула ее себе за спину, и оказалось, что это была Марья Кондратьевна, бывшая «невеста» Смердякова... Ее, впрочем, трудно было узнать из-за весьма расплывшихся форм, но пристрастия к роскошным, хотя и абсолютно безвкусным платьям с хвостами, она не утратила. Наклонившись из коляски, она что-то прошипела непрошенным охранникам, удерживающим ее наперсницу. А та, видимо, почувствовав поддержку, снова развернулась к отцу Ферапонту и громко прокричала на всю площадь... Воспроизвести печатно текст, ею озвученный, нет никакой цензурной возможности – оторопели даже ее охранники. Отец Ферапонт после этого выкрика, видимо, окончательно потерял контроль над собой. Как-то дико зарывав, он с воем бросился прямо к своей жертве, и расстояние между ними стало стремительно сокращаться. За два шага до сжавшейся от испуга женщины ее покинули даже те, кто ее задерживал – очевидно, из чувства самосохранения, чтобы самим не попасть под руку разгневанного монаха. Вся площадь словно разом выдохнула и замерла, но в последний момент между «блудницей» и Ферапонтом выросла фигура, ставшая между ними и принявшая на себя удар. Это был словно ниоткуда взявшийся Дмитрий Федорович Карамазов. Утром он проспал нужное время и попал в монастырь только сейчас – и как оказалось, весьма вовремя. Неизвестно, чем все бы закончилось, не вмешайся он. Ибо даже ему досталось весьма прилично. Смятый ударом посоха цилиндр укатился далеко в сторону, но он сумел удержать отца Ферапонта от следующего удара, плотно схватив его за руки и почти повиснув у него на плечах. Женщина, наконец, сумела вскочить в коляску и, погоняемая тем же веселым кучером, та быстро покатила вниз к реке. Отец Ферапонт, сдерживаемый Митей, еще какое-то время потрясал вслед своим посохом, а потом, резко развернувшись, убежал – но уже не в надвратную церковь, а в проход под ней, откуда только сейчас ему навстречу поспешила пара жандармов. К Мите в это время подошли и другие братья вместе с сопровождавшими их монахами, Калгановым и Ракитиным.

– Да, это я, господа!.. Простите, господа!.. Я как всегда опоздал... Всегда просыпаю – и сделать ничего не могу, господа – ошибка природы!.. Эх, да куда ее столько!..

Митя возбужденно бормотал навстречу подошедшим и все никак не мог унять кровь с разбитой головы, обтирая ее уже практически промокшим насквозь платком. Последняя фраза и относилась к выступившей из раны крови. Внушительная ссадина протянулась по черепу

Мити на его левой залысине, которая вместе с другой как двумя языками обхватывали уже значительно поредевшие волосы на макушке головы. Митя, благодаря, видимо, выпавшим на его долю перипетиям с сибирской каторгой, изменился заметнее других братьев. О волосах уже сказано было. Кроме этого он отпустил небольшую, уже поблескивающую сединой, бородку. Он заметно не растолстел и не похудел, а как-то бы словно почернел. Его кожа приобрела не очень здоровый серовато-землистый оттенок. Кроме того по обозначившимся под глазами мешочкам синеватых опухлостей можно было легко определить, что он явно не пренебрегал общением с «зеленым змием». И опоздал-то Митя сегодня только потому, что накануне уже наверху в своем мезонине в тайне от Алеши и Лисе хорошо принял на грудь, а добудиться его утром в таких ситуациях было практически невозможным делом.

– Батюшка, ваше преподобие.... Отец игумен... Позвольте ручку... Э – благословите... – это Митя, увидел подошедшего отца Паисия, собрался, было подойти под благословение, но все не знал, куда сунуть окровавленный платок. Наконец, пихнув его во внутренний кармашек сюртука, склонился и выставил вперед окровавленные ладони. Однако отец Паисий наскоро перекрестив его, не дал приложиться к руке, и вместо этого дал ему чистый носовой платочек.

– Благодарствую, отцы!.. Спасибо!.. Эх, не думал, что и здесь кровушка-то моя прольется... Это ж надо – этот ваш Ферапонт аки лев на Голиафа... Фу, не помню... Вы куда все направляетесь?

А узнав, что все идут в скит к домику отца Зосимы, тут же с восторгом поспешил вместе со всеми, даже возглавил процессию, то и дело оборачиваясь к едва поспевающим за ним монахам и светским, вынужденным перейти чуть не на легкую рысь.

– Отлично, господа!.. Отлично!.. Вы не поверите – я об этом тоже думал. Зайти и поклониться так сказать своему художественному началу жизни!.. Да-да – началу моих всех художеств... Фу – черт!.. Не то хотел... Помните, как преподобный поклонился тогда мне в ноженьки? Мне – извергу человечества и смехопредателю!.. А я запомнил, господа, запомнил!.. Ведь это же было начало!.. *Vive la guerre eternelle!*² Да, господа – начало этой войны... Оно, может с тех пор во мне и зачалось... – Митя, как будто время от времени сбивался, и вообще, выглядел, даже учитывая происшедший инцидент, как-то уж слишком возбужденно. – Я, господа, хоть и никогда не мог победить себя в этой войне, ибо гнил, гнил оказался... Но не забывал, не забывал... Да, сказал один из подлецов, можно даже сказать – подлец из подлецов, хоть и умнейший был человек... Да, так знаете, что он сказал, господа? *На всякого подлеца свой подлец найдется!*.. Ха-а-ха-ха!.. – Митя зашелся громким и в то же время жалостливым и как бы надломленным смехом. – Верно же, верно, господа!.. На всякого подлеца... Верите ли мне, господа – что человек даже в подлости своей остается человеком? Казалось бы, стань подлецом – ибо подлец ты и есть, забудь, что когда-то был человеком – ан-нет!.. Ох, нет!.. Тут такая закозюка, господа! Я бы даже сказал – затмение реализма!.. Ибо весь реализм, весь жизненный реализм, вся материя твоя подлейшая за то стоит, чтобы быть подлецом, и забыться в этом сне реализма, в этой подлейшей мерзости своей. А там сидит, где-то там сидит в надбрюшии... подбрюшии – черт!.. Селезенке, печенке – не знаю, но сидит – сидит!.. Сидит эта человечина, господа!.. И не дает забыться – не дает, стерва!.. Эх, если бы вы только поняли!.. Даже в последнем подлеце она сидит!.. Даже в самой грязной проститутке и уличном воре!.. Даже в последнем пропойном пьянице!.. Даже в убийце и насильнике – и даже, может, больше всех в них и сидит – и мучит их больше!.. Я, господа, многое чего видел... – Митя, наконец, сбился с хода своих внутренних мыслей и притормозил. Притормозили и все идущие за ним и внимательно его слушающие. Правда, уже и почти пришли к скиту, за воротами которых сразу открыл калитку словно ожидавших их небольшой монашек с высохшей рукой.

² Да здравствует вековая война! (фр.)

Iv

в келье преподобного

Внутри скит практически не изменился. Также благоухали многочисленные цветы в любовно ухоженных клумбочках под торжественными липами и соснами, разве что кусты орешника вдоль деревянной ограды разрослись так, что почти скрыли ее из глаз. На самом домике, где проживал преподобный, висела латунная, ярко выделявшаяся желтизной на темно-зеленом фоне, табличка, где значилось, что это келия преподобного отца Зосимы с датами его рождения и успения. То ли от волнения, то ли от чего-то другого, но поднимающийся последним по нескольким ступенькам Ракитин, споткнулся и едва не упал, уткнувшись головой в спину идущего впереди Алеши. Тот в свою очередь непроизвольно толкнул Ивана, и все трое с какими-то растерянными улыбками на пару секунд задержались на порогах. Они успели обменяться и взглядами, и в их взглядах за натянутыми улыбочными масками мелькнуло даже нечто и злобное. Как бы все досадовало на эту непредвиденную возможность пусть даже и такого нелепого, но общего действия, заставившего всех троих проконтактировать друг с другом.

Внутри изменений оказалось больше, ибо внутреннее пространство было уже приспособлено к музейной обстановке. У стен, в пространстве почти всех свободных простенков покоились выделанные в монастырской мастерской новенькие деревянные, покрытые лаком, подставки, со вставленными сверху прозрачными листами. Под этими стеклянными крышками находились книги, личные вещи преподобного и предметы его обихода. Тут было его личное Евангелие, полная Библия, несколько потрепанных и потертых богослужебных книг. В другом ящике – кружки, ложки, деревянные и фарфоровые чашки, которыми пользовался преподобный во время трапез, еще в одном – рукавички, шапочка, полотенце и даже свернутый в трубочку сапожек преподобного, почему-то один. Калганов, было, хотел спросить у отца Паисия, почему один-то сапожек, но постеснялся, лишь озабоченно стал чесать переносицу, что непроизвольно делал в затруднительных ситуациях. К противоположной от окон стене – стояли большие вертикальные ящики с верхней одеждой преподобного – тулупчик, ряса, подрясник, комплект праздничной богослужебной одежды. На стенах оформление осталось почти тем же, убран разве что один из портретов какого-то давнишнего архиерея, а на его месте, повесил отец Паисий, будет висеть портрет самого преподобного, который скоро должен закончить тот самый, приглашенный из Москвы знаменитый художник Смеркин. Кстати, на небольшом щиточке покоились в рамках собственные дагерротипы и немногочисленные карточки преподобного, которые успели сделать при его жизни. А в его спальне осталось все, как и раньше: небольшая кровать, столик с лампой и аналойчик в углу под многочисленными иконами.

Гости разбрелись по заинтересовавшим их «экспонатам», а отец Паисий и отец Иосиф, негромко разговаривая, переходили среди приглашенных от одного к другому и делали пояснения. Калганов все-таки получил разъяснение от отца Иосифа по поводу отсутствия второго сапога – он, оказывается, находился «на реставрации» (о. Иосиф не стал распространяться по поводу дыр на нем и стоптанного каблука), и к моменту открытия музея при посещении его государем-императором должен будет оказаться на месте. Много и бурливо выражал свои эмоции Митя. Он норовил все потрогать и ко всему прикоснуться, правда, и сам себя одергивал, заменяя желание прикоснуться к предметам словесными «восторгами». Иван же был сосредоточен и молчалив. Словно воспользовавшись удобным случаем, Ракитин подозвал Алешу к одному из ящиков. Там под крышкой находилась чернильница, перья и несколько записных книжек преподобного.

– Смотри, старик, – глухо зашептал Ракитин, опять почти вплотную придвинувшись к Алеше, – а ведь не решились отцы-монахи выставить на всеобщее обозрение эти знаменитые – *«Мысли для себя»*... Ха-ха, не решились... Неспроста. – Он чуть боком покосился на проходящего мимо отца Паисия, поспешившего на какой-то запрос Ивана. – А вдруг царек-то наш

прочитает название и – бах!.. А ну хочу узнать – что за мысли такие-то были у святого – а!?!.. А там такая ересь – да еще и про него самого, про императора!.. Ха-ха... Да, вот потеха-то была – усекаешь? Понимаю монашеков. Куда убрали только – не иначе, как уже отослали в Москву на вечное хранение...

Алеша стоял и внимательно смотрел под стекло на записные книжки преподобного. Одна из них была раскрыта и почти выцветшими чернилами на ней была выведена какая-то дата. Но как он ни пытался рассмотреть и понять ее – разобрать не удавалось.

– Что глаза ломаешь?.. Это я сам вписал – видишь, это дата его смерти... Точнее, день, хотя нет – ночь, когда я все опись тут делал. Взял и вписал – теперь канает за собственные записи святого. Видишь, как все в мире относительно. И собственные чернила и каракули могут сойти за «священные записи» и даже за «божественное слово» преподобного Зосимы Милостивого... Хе-хе, – он опять колыхнулся подавленным смешком. – Как не люблю я все-таки эти искусственные попадания в святцы. Зосима вареньице лопал и чаек дул с блюдец, а теперь все эти тарели быдто сами чуть ли не святы – ить-ты – под стеклом да с надписями. Ух – и плюнул бы – да рано, рано... Но ничего, старик, будет и на нашей улице праздник – а?!.. Удивится государек-то наш – эх удивится! Если останется чем удивляться...

Ракитин хотел еще что-то сказать, но в это время отец Паисий пригласил всех гостей присесть на специально принесенные по этому поводу тем же сухоруким монашком стулья. Тот заносил их, высоко подняв, прижимая здоровой рукой спинки чуть не к самому подбородку. Когда все гости расселись, на какое-то время установилась неловкая тишина, что всем была неприятна, но которую словно никто не знал, чем и как нарушить. Митя, главное, тоже замолчал, вполоборота развернувшись и задумчиво рассматривая гравюру Рафаэлевой «Сикстинской Мадонны», как и раньше висевшую на своем месте. Но все-таки он же и первый нарушил молчание:

– Великая картина, великая... Господа и отцы преподобные... Мадонна эта... Главное – глаза... Что у Ребенка, Христа нашего, что у Матери... Что-то запредельное – так в душу и лезут. И пронизывают. И видят же все... – и неожиданно, совсем без всякой связи со сказанным, продолжил, развернувшись обратно от картины: – Удивлен я, правда, отцы-монахи... Удивляюсь, как это вы решились отца нашего, убиенного Смердяковым, захоронить в стенах монастыря. Удивляюсь, хоть и с благоговением, даже страхом, ибо мерзок и подл... Но не могу не удивляться – что-то для меня запредельное и невыразительное. Папаша наш отплясывал тут коленца свои мерзкие перед святейшим Зосимой – а мы ведь можем же назвать его уже так, можем?.. – да-да здесь, я помню... Помню, как он мне и в ноги положился... Помню. Я ведь все думал потом, что за эмблема такая... Каторгу, скажут, он мою предвидел... Нет, не каторгу... Точнее – каторгу, а, господа, но каторгу другую... Внутреннюю. Да – господа, а она пострашнее наручной... Да, и кандал с цепями... И все-таки удивляюсь...

Митя замолчал, рассеянно уставившись на отца Паисия, в ответ на его взгляд опустившего голову и как бы болезненно сжавшему глаза. За него неожиданно ответил Калганов:

– А я, Дмитрий Федорович, думаю, что это, как вы изволили сказать, – тоже эмблема. Эмблема только другого рода. Что Церковь-мать готова всех принять в свои лона... Посмертные, так сказать, объятия. И пусть папенька ваш, Федор Павлович, и не отличался строгостью своего жития, так сказать, а по правде сказать, не был праведником... Ну в общем, хоть и грешником – а все одно. Церковь-то наша всех принимает – и ведь должна всех принимать, особенно же после смерти. Иначе как это будет? Неправильно ведь. Иначе где же мы все будем-то? А мы все грешники, и все в молитвах нуждаемся... – он тоже уставился на отца Паисия, как бы от него ожидая подтверждения своих слов. Но тот молчал, зато Митя горячился все больше:

– Отцы и братья... Да, смотрите, а мы ведь тут действительно – отцы и братья... Я не за себя сейчас говорю. Я понял, что я, может, и в сто раз мерзейшее папеньки своего! Да и правда – подлее, не верите, господа?.. Когда-нибудь расскажу. Не сейчас – минута не та, да, тон не тот,

не те... Нет – о чем я?.. Да, я о принципе. Ну, не должно быть так – ведь должно быть разделение. Да, господа – итоговое разделение!.. Мировозавершительное, как бы – не могу выразить. Черт!.. Инфернальное разделение!.. Это – каждому свое... Ведь несправедливо же так. Совсем теряешь веру в мировую справедливость, господа. А без нее трудно... Сами посудите. Ведь при жизни – да, я согласен. Живем все вместе – как заросшее бурьяном поле. Тут и пшеничка прошлогодняя – сама осыпалась – и сорняки, и васильки там всякие, и чертополох... Все вместе – так и нужно. Такая жизнь. Живем – друг друга грызем, тянемся к солнцу. У кого больше колючек и листья полапистее, тот и прорывается вверх, а остальных затаптывает, затмевает что-ли... Да, – это жизнь наша подлая, я согласен. Ничего не поделаешь. Но после – после то, господа?.. Должно быть разделение! Мировое разделение... Как там – ягнята и козлища!.. Каждому свое! Все – по местам... А тут получается, что и после смерти – вместе? Зосима, наш святой старец, всю жизнь добро делавший, и папаша наш, что только не делавший... Но только не добра... И теперь вместе? После смерти – вместе в монастыре, лежат рядышком?.. Тринадцать лет лежал, пока не подняли. Не понимаю. Несправедливо. Мир совсем сошел со справедливости?.. Не принимаю – кто объяснит?

На этот раз при продолжившемся молчании монахов, в разговор вступил Иван. Он даже подобрался на стуле, пододвинув к себе далеко отстоящую трость.

– Дмитрий, ты упомянул одну притчу из Писания, а я тебе на это упомяну другую. Знаешь, кто первым в рай вошел?.. Да и вместе со Христом первым – разбойник... Именно – разбойник. Тот, кто, может, до этого грабил, убивал и резал – за это и оказался на кресте. А вошел в рай первым. – Иван говорил сдержанно, но с внутренним напряжением. В его речи появилась одна новая черточка – буква «с», когда он ее произносил, особенно в предложениях, слегка посвистывала. – Ты наверно тоже будешь этому удивляться – а по Писанию это так. Христос ему говорит: «Ныне же будешь со Мною в раи». Вот тебе и удивление? Какая справедливость? Тут не в справедливости дело. Одно дело человеческая справедливость, а другое – божественная. По человеческой бы никто в раю не оказался – тем более, какой-то вшивый разбойник. А по божественной – он и стал первым...

– Да, но про него сказано, что он покался, – это в разговор вступил Ракитин, даже заерзавший на стуле от желания вмешаться и не давший договорить свою мысль Ивану. – И, дескать, как считает наша религия – это сделало его первым, так сказать, насельником рая. Из грязи – да в князи. Такой-вот пируэт человеческой жизни на ее завершительном крючке. – Ракитин говорил, по-видимому, серьезно, но во всем его облике проступало что-то глумливое и нарочито выставяющееся. – Покаяние – вот ключ ко всему и к райским кушам тоже. А насчет вашего батеньки что-то сомнительно...

На этот раз загорячился Калганов:

– А вот этого, Михаил Андреевич, никто доподлинно знать не может. Покаяние – вещь таинственнейшая. Может, уже там, лежа в крови, на последнем издыхании, так сказать – и покался человек. Может же такое быть – скажите, отцы?.. Я читал, что многие христианские мученики, будучи язычниками, в крови своей крестились. Да-да – кровь их им вменялась вместо воды крещальной. И еще я доподлинно знаю историю, как один неверующий помещик – все хулил все святое, а в последний час так заплакал, когда над ним отходную читали...

– И все-таки сомнительно, правда, Дмитрий Федорович, – по-видимому, намеренно подначивал Митю Ракитин. – Очень сомнительно, чтобы батенька ваш покался, уже лежа в крови, как говорится...

Но Дмитрия, похоже, эта мысль о «покаянии в крови» поразила. Он какое-то время смотрел на Ивана, потом на отца Паисия, Калганова, Алешу, потом снова на Ивана.

– Я, я запомню это... Покаяние в крови. Это сильно, господа и братья... Иван, я это запомню... Разбойник в раю... До этого резал... Кровь – она действительно как вода покаяния... Хлещет – не остановишь... Он почти бессознательно прикоснулся к своей ране, рубцом

алеющей на левой затылке. – Вот и сегодня – хлестала... Странно, но мне сегодня больше жалко было не эту бабу... Простите, женщину... А отца Ферапонта. Не правда ли – странно, господа!.. Я ведь мог остановить его руку – а не остановил...

– А вы обратили, внимание, господа, что это были за женщины? – Ракитин окончательно включился в разговор, перехватывая его инициативу у Мити. – Ведь это же, не к месту будет сказано, блудницы, или по современному – женщины неподобающего поведения. В коляске-то – знаменитая Марья Кондратьевна. Она, говорят, да что говорят – доподлинно знаю – содержит публичный дом в Москве – и какой!.. Ого-го – публичнейший дом!.. И приехала зачем-то с какой-то своей компаньонкой. Зачем только – вот эмблема!.. Приложиться к мощам или поглумиться над Ферапонтом?.. А может – одно другому не помеха?..

– А я, господа, успел увидеть ее глаза. Ее – да, этой публичной девки!.. И там – тоже!.. Тоже увидел... Как вам это объяснить, господа, – сквозь страх и ужас – человечинку эту!.. Человечинку эту затоптанную!.. Эх, поймете ли вы меня? Я ведь о чем думаю. И Христос ведь прощал грешницу, блудницу такую же, то есть... За эту самую, думаю, человечинку и прощал. За эту неистребимую человечинку...

– Ну, у господина Достоевского блудница чуть ли не в ранг святых возведена, – продолжил, перебивая Митю, разглагольствовать Ракитин. – Читали ли вы, господа, его роман «Преступление и наказание»? Там, вкратце, один студент уколошил старуху-процентщицу, так сказать, ради эксперимента... Топором да с кровью... И что вы думаете – замучил себя потом по дурости. Уже вешаться или топить хотел. И кто бы, вы думали, его спас и вернул к этой «человечинке», как Дмитрий Федорович выражается? Да-да – самая настоящая проститутка. Катя... Нет, Соня, кажется... Так они там вместе даже Евангелие читали – вот умора!.. Проститутка с Евангелием – проповедует... Ну может ли такое быть?

– Очень даже может! – решительно встрял Калганов. Он даже заколыхался всем своим полным телом, не помещающимся на стуле. – Эта Сонечка Мармеладова как воплощение уже не «человечинки», а самой настоящей человечности – человечества в целом, так сказать. Она ведь и стала проституткой не просто так. Она же семью свою спасала. Детей, своих братьев и сестер голодных, от голодной же смерти. Потому и пошла на панель. Так сказать, сама погибая, но спасая других. Умереть – нравственно умереть! – «за други своя»... Ведь это же пример настоящего самопожертвования, настоящей христианской нравственности и поведения. Правда же, отец Паисий?

– Нет, не правда, – тихо ответил отец Паисий – это были его первые слова за все время разговора – и все удивленно на него уставились. Даже Алеша. До этого он старался не просто не разговаривать, но даже не встречаться взглядом с отцом Паисием. А тут как и все обратился к нему открытым взором. И что-то давно забытое, потухшее, но еще теплое, едва промелькнулось в этом взгляде. Промелькнулось, впрочем, и сменилось просто обычным «холодным» удивлением. Отец Паисий, чуть выждав паузу, зачем-то посмотрев на отца Иосифа, задумчиво покусывающего кусочек своего уса, заговорил, наконец, хоть и негромко, но с убеждением и твердостью:

– Бог не может поставить человека в ситуацию, когда у него нет другого выхода, кроме как пожертвовать своею нравственностью. В житиях многих христианских мучеников описаны многообразно ситуации, когда их нравственность подвергалась подобной угрозе, и ни разу – заметьте! – ни разу Бог их не допустил до настоящего физического падения. Он наоборот всегда их спасал и даже более того – забираал у них жизни, но не допускал до падения.

– Но это, может, преувеличено, так сказать – для красного словца, – осторожно потянул, было, Ракитин.

– Мы не можем сомневаться в истинности и правдивости авторов житийных хроник, многие из которых, были записаны очевидцами. Говорю вам, как человек, специально по долгу

службы, исследовавший этот вопрос. Жития большинства христианских мучениц римского времени записаны со слов очевидцев их страданий, – вступил в разговор и отец Иосиф.

– Но, господа, то есть, отцы... – как-то полуприглушенно заговорил Митя. – Может, Сонечка эта, так сказать, встала на этот путь еще, как бы это сказать... Не зная всего. Она, может, не была знакома, как его, с... В общем, не понимала, что делала...

– Ошибка господина Достоевского в том и заключается, что он заставил стать на этот неприемлемый для христианина путь именно христианку. Она не в медвежьем углу воспитывалась и уже знала основы веры, как и имела понятие о грехе, однако же пошла на этот противоестественный для христианской нравственности шаг.

– Аффект, может быть, хе-хе, – глумливо вставил Ракитин.

– Да-да, отец Паисий, – совсем разволновался Калганов. – Там эта, мать ее, Катерина Ивановна, кажется... вся в чахотке... Голодные дети плачут, нужно срочно денег. Прямо сейчас вот – иначе на улицу выгонят... Вот она и пошла – пошла сразу, не думая, а жертвуя собой... И зная, какая это жертва... Так как вернулась и проплакала потом всю ночь. Да – вместе с Катериной Ивановной...

– И Катерина Ивановна совсем не права... Кстати, по-моему, это, если мне не изменяет память, это все-таки не мать ее родная была, а мачеха. Мать вряд ли отправила дочь на такое противоестественное для себя и для нее дело. Но это все частности, на самом деле. Важен принцип. А принцип в данном случае говорит: Бог не дает испытаний свыше сил человеческих. Значит, выход был. Если бы они, Соня с Катериной Ивановной, прежде чем затевать такие отчаянные и греховные поступки, стали бы на молитву – помолились бы, обратились к Богу всем сердцем. Не нужно было бы тогда жертвовать своею нравственностью. У меня нет в этом сомнений.

– Вот-вот, – неожиданно поддержал отца Паисия Иван. – Хотя бы пошли в ближайший храм, объяснили ситуацию первому же священнику – неужели бы им не дали денег? Уверен – дали.

В келье повисла пауза. Все переваривали услышанное, и многим хотелось что-нибудь возразить, что как-то не приходило на ум, что конкретно. Особенно хотелось что-то сказать Алеше. Он даже приподнялся и, было, начал открывать рот, но все-таки сдержал себя, опустил на стул обратно и даже закачал по сторонам головой, как бы разгоняя непрошенное наваждение.

– А все-таки, отцы и господа, – надо же сказать вслух об этом деликатнейшем обстоятельстве, которое нас всех сейчас занимает. – неожиданно громко заговорил Ракитин, при этом он мельком взглянул на Алешу и даже, кажется, едва заметно подмигнул ему. – Я имею в виду состояние мощей нашего Зосимы... Оно, как бы это сказать поделикатнее, не является образцовым... А – что вы думаете?

Проговорив это, Ракитин обдуманно и намеренно попал в самую точку. В глубине души у каждого, кто присутствовал на поднятии мощей, сидело это впечатление. Для всех с разным духовным и нравственным акцентом, но сидело у всех. Уже в самой стоящей у вскрытой могилы толпе начинались приглушенные «разговорчики» – как правило глумливые и злорадные. Сам Ракитин заговорил сейчас с подобным подтекстом – внешним видом озабоченности прикрывая «глубокое удовлетворение», что все же произвольно прорывалось наружу. Да что там говорить – смущенными оказались и многие монахи. Опять проявилось нечто похожее на то, что ожидалось во время кончины и погребения отца Зосимы – безосновательная надежда на чудо. И когда это «очередное чудо» не произошло, на самой искренней части публики это оставило еще не до конца осознаваемый, но несомненно «грустный» осадок.

– Вот ты, Михаил... Вот ты не туда говоришь... – первым забеспокоился с ответом Калганов. Он даже заколыхался на маленьком для него стуле. – Никто особо и не ожидал, что там... что-то другое будет...

– А я думаю, что и ожидали, – не унимался Ракитин. – Это ж как было бы кстати. Чудотворные нетленные мощи, истекающие миром... Ах, как хорошо бы было!.. Какая слава и благоволение в вышних... – он уже почти откровенно злорадствовал.

– Но это же не всегда, не всегда же – правильно я говорю? – забеспокоился и Митя, почему-то глядя почти в упор на Алешу. Иван с началом этого разговора как-то полупрезрительно усмехнулся и почти демонстративно уставился в окно. Это похоже окончательно разозлило и раздражило Ракитина.

– Оно ж ведь как говорят: каково начало – таков и конец. Начиналось то, тоже все еще помнят, с неблагоговейнейшего запаха... Впрочем, вполне естественного для умершего, но, заметьте, для обыкновенного умершего, нисколько ни святого. Но ведь наш наибогороднейший отец Зосима претендует на попадание, так сказать, в святцы наши местные... А там, глядишь, и во всероссийские. А это совсем другое. Тут надо соответствовать запросам... А то ж ведь как-то нехорошо получается... Как бы мы насильно его в святые тащим.

Он закончил уже чуть не с откровенной злобой, блеснувшей хищно из его прищуренных глаз.

– Я хочу вам возразить, Михаил Андреевич, – заговорил отец Иосиф внешне мягко, но со сдерживаемой силой внутреннего протеста. – Состояние мощей не является решающим показателем для признания святости. Решающим фактором является документально зафиксированные чудотворения при молитвенном обращении к усопшему святому. А их у нас накоплено достаточно. А по поводу мощей... Так на Афоне, вы должны знать, как там происходит освидетельствование. Там даже наоборот неистлевшие останки – признак неблагоугодности усопшего монаха. Я вам напомню, что через три года после смерти очередного монаха, его останки выкапывают и освидетельствуют. Если плоть на них истлела полностью, а косточки оказались белы – то это и есть знак Божьего благоволения. А если нет – если плоть не истлела – то, соответственно наоборот. Останки тогда закапывают снова, и братия начинает усиленно молиться за такого монаха, вымаливая его перед Богом. Вот так.

Отец Иосиф после своей речи посмотрел на отца Паисия, как бы приглашая и его подключиться к разговору и поддержать его сторону в дискуссии. Всем зримо и даже чувственно не хватало его здесь слова. Ракитин так тот вообще непроизвольно сжал правый кулак, как бы ожидая главной атаки.

– Однако, господа, нам пора уже поспешать на обед, – посмотрев за окно, где прозвучал дальний бой колокола, произнес отец Паисий.

Его слова оказались столь неожиданными, что поначалу даже не воспринялись. Слишком демонстративным было это неучастие в «главном» разговоре и прерывание дискуссии. Все продолжали сидеть на своих местах. Но поднялся отец Паисий, поворачиваясь к двери, но все-таки скользнув каким-то «болезненным» взглядом в сторону Ракитина.

С тем все и поднялись. На этот раз из кельи последним вышел Алеша, долгим и странно «истомленным» взглядом смотревший в опустевшей келии на спаленку преподобного.

v

Юродивый штабс-капитан

Толпа у монастырских ворот и около надвратной церкви еще более выросла за какой-нибудь прошедший час. Уже приходилось протискиваться, чтобы проложить дорогу в монастырь. Недалеко от входа, где было особенно густо, и двигаться приходилось медленно, отца Паисия вновь стали узнавать, и некоторые старались взять благословение. Кто-то для этого даже становился на колени.

– Батюшка!..

– Отец игумен!

– Ну, когда пустять-то?

– Разреши народишку к святым мощам приложиться.

– Истомились, знамо...

Отец Паисий со страдающим лицом раздавал благословения:

– Потерпите. Потерпите, мои хорошие. К вечеру... К вечеру – сейчас сень сооружают. Потерпите, братья и сестры... Всех пустим. Никого от милости святого старца нашего не отрешим.... Потерпите...

По левую сторону от входа в монастырь толпились нищие. Обычно их было несколько человек, сейчас много: тут оказалось до десятка баб разного возраста и чуть меньше представителей мужского племени. Среди них выделялся сильно обносившийся мужичок в изорванном нанковом пальтишке (это несмотря на жару) и измызанной широкополой шляпе. Его седые волосы клоками лезли из под этой шляпы в разные стороны, а жиденькая и тоже растрепанная борода как-то странно гармонировала с этим не совсем обычным видом монастырского попрошайки. Этого нищего юродивого называли – «цветочник», и это был никто как бывший штабс-капитан Николай Ильич Снегирев. Придется сделать еще одно небольшое отступление, чтобы познакомить с изломом судьбы и этого персонажа нашего предыдущего рассказа.

Он у нас тоже стал своего рода «достопримечательностью», хотя и в грустном смысле – таких людей наш православный народ называет *юродивыми*. Потрясенный смертью своего любимого сыночка Илюши, его разум не выдержал этого жестокого испытания, и наш бедный штабс-капитан, как это говорится в общем образе, тронулся умом. Но тронулся в каком-то высшем смысле, так как со временем в его, казалось бы, бессмысленных словах и поступках стало проступать словно бы и нечто осознанное и даже пророческое. Впрочем, это далеко не всеми замечалось и тем более признавалось. А произошло следующее: вскоре после смерти Илюши штабс-капитан страшно запил, так что пропил все оставшиеся от подаренных ему средств и немалые вспоможения от Катерины Ивановны. Но это бы полбеды. Пропив все, что можно пропить, он два дня не появлялся дома, а потом явился «в свои недра» какой-то очень взволнованный и сказал, что его позвал Илюша «покрыться цветочками». Никто не мог добиться от него, что означает эта странная фраза – «покрыться цветочками», а бедный штабс-капитан все кружил по дому, перебирал и перетряхивал карманы всех своих заношенных платий в поисках, как он постоянно бормотал, «копеечек на цветочки». Устав от увещаний прекратить «комедию», его дочь Варвара Николаевна (она не успела приехать на похороны Илюши, но хорошо, что задержалась на время запоя отца, иначе неизвестно, как выжило бы оставшееся семейство), не в силах больше выносить вид безумного родителя, дала ему, наконец, чуть не последний свой рубль. Но он странным образом не взял его.

– Копеечки на цветочки!.. Да-с, копеечки!.. Нужно, Варвара Николаевна, копеечки-с, только копеечки!.. Это мальчику нашему Илюшеньке, батюшке нашему, чтобы покрыться цветочками... Ибо это – последнее убежище оскорбленных и последнее их утешение – покрыться цветочками!.. Неужели нет у нас копеечек?.. Только копеечек!.. Варвара Николаевна, жестокосердная!.. Не найдем-с... И у маменьки нет-с... Как же так? Как же так!.. Дщери мои и жены мои солубезные!.. Это же последнее утешение – покрыться цветочками!.. Не найдем копеечек!..

И капитан, грохнувшись на стул, разразился такими жестокими рыданиями, что вскоре в голос завывала вся оставшаяся женская половина его семейства, даже и «жестокосердная» Варвара Николаевна. Как на грех в доме кроме этого последнего рубля действительно не нашлось ни одной «копеечки». Если бы нашлась, то, глядишь, дело бы на этом и закончилось, а так после нескольких минут рыданий, штабс-капитан вдруг снова заметался по комнате.

– Илюшечке нашему-с голо!.. Голо-голо-то без цветочков... Не можем-с оставить его, не можем. Дщери и жены мои, солубезнейшие, можно сказать – плоть от плоти и кровь от крови... И плоти! И крови!.. – с каким-то даже ожесточением повторял безумный. – Не могу-с. Не могу-с!.. Илюшечке нужно найти копеечки!.. Копеечки на цветочки... Батюшке нашему...

Зареванная Варвара Николаевна уже хотел бежать из дома разменивать свой последний рубль, отложенный ею на отъезд, но Снегирев опередил ее. Он бросился к порогу, загораживая собой проход перед оторопевшей Варварой Николаевной. Потом, как был в нанковом пальто и шляпе, так и опустился на колени в дверной фрамуге.

– Простите!.. Бегу, бегу – Илюша зовет!.. Надо искать копеечек!.. И всем надо искать копеечек!.. Ибо каждому тоже-с покрыться цветочками – последняя милость... Да-с, господа и миротворители!.. Каждому-с!.. И вам и мне-с!.. Ибо какая же милость, какая же справедливость-то, если вот так – голо-голо!.. Это же милость, и милость последняя!.. Покрыться-то цветочками!.. Пустите!.. Простите-с!..

И штабс-капитан ушел из дома и ушел уже навсегда. С этих пор у нас в городе и появился новый юродивый. Чаще всего его можно было видеть около монастыря, где он уже многие годы просил подаяния, причем, не брал ничего, кроме «копеечек». А набрав их с десятков, всегда бежал к бабам-цветочницам и покупал у них цветы. И тоже в высшей степени странно и оригинально. Он долго бегал между ними, присматриваясь к букетам и цветам. Наконец, выбирал какой-нибудь букет, показывал на какой-то понравившийся ему, кто знает почему, цветок и просил именно его. И всегда давал за него именно копеечку, никогда не соглашаясь взять просто. Так как многие бабы, зная его историю, и жалея безутешного папашу, часто готовы были сунуть ему целые букеты и совершенно бесплатно. Но новоявленный юродивый никогда ничего не брал просто так – только за «копеечку».

– Илюшечке травки не надо, травки у него достаточно-с, – говаривал он, когда ему совали букеты или даже охапки цветов. – Илюше цветочек за копеечку, только цветочек за копеечку, ибо прикрыться надо-с... А прикрыться только цветочками, травка тут не поможет-с, только цветочек за копеечку... Ибо копеечка за цветочек идет...

Таким образом, он набирал себе букет – и каждый раз непредсказуемым образом. То все разные цветы, то одинаковые по сорту. То разноцветные, то только одного цвета. То одного вида, но совершенно разнообразные... Каждый раз и все по-своему. Как ни пытались наши бабы-цветочницы предугадать, какие цветы будет брать в следующий раз юродивый штабс-капитан, им это никогда не удавалось. Даже споры и пари, я слышал, заключались на этот случай, но никогда никто не мог ничего верно определить.

И – удивительное дело! Со временем обнаружилось одно странное обстоятельство. Те бабы, у которых он приобретал себе цветочек, никогда не оказывались в накладе – всегда распродавали свои остальные цветы полностью. Поэтому, когда Снегирев появлялся на базаре, там, где торговали цветами, вокруг устанавливалась благоговейная тишина, и бабы с замиранием сердца следили за выбором юродивого. Правда, может, тут со временем стало играть роль одно суеверие. Многие наши горожане (простые бабы и даже некоторые из благородных дам), приметив, у какой цветочницы юродивый приобрел свой вожаделенный цветочек, стремились потом приобрести себе оставшийся букет. Считалось, что этот букет тоже приносит удачу. Причем, по городу ходили рассказы не об одном подобном случае. Не хочу отнимать время у читателей на их пересказ, но не удержусь от одного. Года четыре назад у одной нашей местной вдовой мещанки произошел пожар в доме. Внутри выгорело почти все, и только спальня, в которой стояли приобретенные в этот день «юродивые цветы» (так стали называть цветы, из которых Снегирев приобретал перед этим свой «цветочек за копеечку»), чудесным образом оказалась нетронутой огнем. Объектами почитания стали и сами «копеечки», отдаваемые юродивым за приобретенные им цветочки. Их никогда (только в случае крайней нужды) не пускали в оборот, а хранили дома в виде своеобразных домашних «святыnek», наряду со святыньками из наших ближних и дальних монастырей. А некоторые пробивали в этих копеечках дырки и вешали себе на шею. Такой обычай почему-то сильно распространился среди заезжающих к нам время от времени татар и цыган, приторговывающих лошадьми и скотом. Считалось, что такая «юродивая копеечка», если будет висеть на груди, никогда не даст приоб-

рести подпорченную лошадь. И кто-то из цыган даже клялся, что она в случае угрозы подобной сделки начинала прямо-таки жечь грудь. Интересно, что сам штабс-капитан никогда повторно не брал одну и ту же копеечку. Если кто-то по недосмотру или просто желая проверить его, давал ему уже когда-то побывавшую у юродивого копеечку, то он обиженно тряс бородашкой и приговаривал:

– А Илюша-то, батюшка наш, знает все копеечки наперечет. Это-та уже-с за цветочком-то побывала. Не пойдет она за новый цветочек, не пойдет... Не станет греть такой цветочек Илюшечку, не станет... А вавилонскую башню-то надо было во дворе-с ставить...

Последнюю фразу он однажды добавил одной крестьянской бабе, чем вверх ее в большое недоумение. Оно, правда, вскоре прояснилось, когда ночью у нее за двором стог сена, привезенный накануне на телеге, но по недосмотру запившего мужа оставшийся за воротами, да там и подожженный кем-то из недоброжелателей. Случай этот много прибавил славы нашему юродивому штабс-капитану. А с приобретенными им на полученные «копеечки» цветочками – отдельная история. Он их уносил с собой на кладбище и там украшал ими могилку своего мальчика Илюши. Тоже каждый раз неповторимо и художественно. То разложит их в виде креста, то сплетет из них веночек и повесит на крест, то просто разместит в каком-то ему одному известном порядке. И эти цветочки приобрели славу, только уже дурную. Дело в том, что их поначалу, считая тоже за «юродивые», стали потихоньку таскать с Илюшиной могилки. Но оказалось, что эти украденные могильные «цветочки» приносят только несчастья. Это обнаружилось не сразу, но, в конце концов, когда одну нашу мещанскую «ведунью» затоптал и задрал рогами неизвестно почему взбесившийся бык, люди немедленно связали это с ее однажды сказанными словами. Что, мол, кто возьмет цветочки с могилки Илюши, сам долго жить не будет. Видать, знала, что говорила.

Но возвращаясь к нашему юродивому штабс-капитану, еще добавлю, что его можно было застать за вышеупомянутыми тремя занятиями: он сначала принимал копеечки от доброхотов у монастырского входа или других наших церквей, потом шел приобретать на полученные «копеечки» свой очередной неповторимо оригинальный букет, и, в конце концов, отправлялся на кладбище украшать могилку Илюши. Ночевал он в теплое время года на кладбище, а по холоду забирался в почти окончательно развалившуюся хибарку за пасекой – бывшее жилище отца Ферапонта. Удивительно дело – практически никто никогда не видел, чем он питается. И еще деталь. В прежнее время, мы об этом упоминали, отставной штабс-капитан не прочь был заливать свое горемычное житье-бытье горьким напитком, в нынешнее время, уйдя из дома и став юродивым, никто и никогда не видел его пьяным, ни даже просто выпивающим.

Тем временем вся процессия во главе с отцом Паисием, протиснувшись через толпу, уже направилась мимо нищих к монастырскому входу. Любопытно, как они отреагировали на проходящего мимо них игумена – никто даже не попытался встать (большинство сидели прямо на камнях), а кое-кто так и отвернулся в сторону. Некоторые бабы так вообще смотрели с какой-то даже и злобой. Только один безногий солдат загрохотал костылями в попытке подняться, но его остановило широкое крестное знамение отца Паисия. И едва не последний в этой компании наш юродивый штабс-капитан снял с себя шляпу (а он и зимой и летом ходил именно в ней, как и в своем еще едва сохранившемся нанковом пальто) и стал на колени, сложив руки лодочками. (Кстати, еще одна подробность про юродивого. Он никогда не заходил внутрь монастыря, но монахов непонятным образом почитал и почти всегда становился перед ними на колени.) Отец Паисий, откинув залепившую ему лицо под порывом ветра полу клобука, как-то даже торжественно перекрестил юродивого, прикоснувшись щепоткой пальцев к его лбу. Все это наблюдали все остальные участники процессии и шедший последним Митя. Пару секунд он вглядывался в лицо штабс-капитана и вдруг узнал его.

– Люди!.. – раздался его крик, заставивший уже было тронувшихся дальше, обернуться. – Люди, стойте!.. Вот он, знамение судебное!.. Я еще на нарах думал – буди! И будет!.. Стало,

стало!.. – Митя опустился на колени и странным образом взял себя за бороду. Штабс-капитан продолжал еще стоять на коленях тоже. – Изверг человечества нуждается в прощении. Не откажи, не откажи!.. В прахе и пыли повергаюсь, ибо мерзок и причина чужих несчастий... – Митя сам себя потащил к юродивому за бороду, дергая ее рукой из стороны в сторону, пока не оказался почти вплотную перед ним. – Прости, когда-то я таскал за бороду тебя, капитан, – вели вырвать с корнем... Вели казнить... Но только прости, ибо понес уже много, но не все еще загладил... Прости, повергаюсь... – Митя отпустил наконец свою собственную бороду, сделал глубокий поклон, коснувшись лбом земли, затем вернулся в исходное положение, не вставая с колен, и развел руки по сторонам, как бы в нерешительности, что делать дальше. Штабс-капитан, похоже, пришел в волнение. Это выразилось, впрочем, только в нескольких судорогах, которые одна за другой стали пробегать по его лицу, заставляя его дергать и трясти своей растрепанной мочалистой бороденкой. Он по-прежнему стоял на коленях, только теперь подобрал свою засаленную до последней степени шляпу и мял ее в руках.

– Копеечку... Копеечку для Илюши на цветочек... Копеечку надо-с... Цветочками покрыться... – забормотал несчастный юродивый.

– Копеечку?.. – непонимающе повторил Митя, опуская руки. Похоже, он надеялся на то, что обиженный им когда-то штабс-капитан позволит ему обнять себя. – Копеечку?.. Ах, да!.. – И Митя, словно бы придя в себя, залез в карман жилетки и вытащил оттуда небрежно сложенные пополам несколько кредиток. – Копеечку... Возьми мою копеечку... – И Митя со страдающим видом протянул все, что там было, юродивому. Но у того тоже на лице появилось страдающее и даже словно сильно обиженное выражение. Он стал отстраняться лицом и телом от стоящего перед ним на коленях Мити.

– Копеечку надо!.. На саван не надо!.. В саване холодно – цветочки только греют... – И следом снова повернулся лицом к Дмитрию Федоровичу. – А огонь-то тоже-с греет... Огонь из могилки выходит и греет... Там где цветочков нет – там огонь выйдет... Всем, кто на саван подавал-с и выйдет... В саване-то холодно... А Илюша в цветочках будет греться... Покроется-то цветочками... – И он еще что-то забормотал, уже словно потеряв всякий интерес к Мите – приподнялся и сел на свое прежнее место.

– На саван подал?.. На саван... – со слезами на глазах повторил Митя, все еще стоя на коленях и держа перед собой в руке деньги. Он был жутко расстроен неудачей своего предприятия. Потом словно даже какое-то ожесточение мелькнуло в его лице, и он резко поднялся на ноги. – Да что же это делается, люди!? Люди!.. И мне что ли надо сойти с ума, чтобы простили меня!.. На саван?.. На саван я подал? – Митя даже закружился на месте вполборота в одну, затем в другую сторону, сминая зажатые в кулак деньги – Э, да – возьмите!.. – и он в сердцах швырнул их остальным нищим.

Митя явно не предполагал, что последует за его броском, иначе непременно изменил свое решение. Не успели распадающиеся в воздухе на отдельные бумажки деньги долететь до земли, как вся толпа нищих с воем бросилась к ним, и рядом с Митей началась самая настоящая свалка. Не успевал кто-то схватить бумажку, как другой или другая уже вырывали ее из рук, не давая засунуть куда-то в укромное место. Вскоре вместе с уже занятыми руками в ход пошли ноги и даже головы. Особенно усердствовали бабы, вырывая деньги друг у друга, для чего хватали и таскали друг дружку за волосы и даже впились зубами в запястья. Какую-то кредитку почти сразу порвали пополам, но и это не сразу остановило баталию – напротив, вызвало еще большее ожесточение. Стоявший поблизости жандарм не только не попытался что-либо сделать, чтобы навести порядок, но, откинув голову назад, громко хохотал.

– Люди!.. Люди!?!.. – ошарашено шептал еще более потрясенный Митя. Он то и дело вскидывал обеими руками по направлению с стоящим рядом людям, словно приглашая их в свидетели. Он наверно так бы и стоял, погружаясь в ступор, пока его, взяв за руку, не увел за собой в проход под надвратной Церковью подошедший сзади Иван.

vI

обед у владыки

Сразу за воротами сильно расстроенный предыдущей сценой Дмитрий Федорович откланялся со всеми, сказав, что на обед не пойдет, а вместо этого побудет «на мощах» и рядом с могилой отца. Отец Паисий не стал его удерживать, по правде говоря, он и не был приглашен на обед – так как появился в городе слишком поздно. Сам обед проходил в новом, включенном прямо в монастырскую стену «трапезном» храме, в который были переоборудованы пару лет назад бывшие складские помещения – не без участия и денежной помощи, кстати, того же Калганова. Продолговатое помещение было ориентировано с запада на восток, а столы, расставленные буквой «П» – с юга на север, так что за спиной владыки Зиновия, восседающего во главе стола, оказывались окна, выходящие во внутренний монастырский двор, одно из которых было задрапировано какими-то коричневыми шпалерами. Когда внутрь через раскрытую половину окна проникал ветерок, они волнообразно колыхались. Рядом с владыкой по левую сторону находился отец Паисий (за ним отец Иосиф), а по правую какой-то тощий архиерей из управления (он помогал владыке вести службу), а еще правее отец эконома и он же благочинный монастыря – отец Софроникс. Если внимательнее к нему присмотреться, то в нем можно было узнать знакомого нам по первому повествованию бывшего обдорского монашка. Разве только чуть располневшего. Добившись разрешения остаться в нашем монастыре, он за эти тринадцать лет сделал неплохую по монастырским меркам карьеру. Сначала он прислуживал отцу Ферапонту, был как бы его келейником, но выполнив раз-другой какие-то хозяйственные поручения бывшего игумена, проявил в них такую крепкую хватку, что вскоре перешел по его непосредственное начальство. С отбытием игумена на новое место отец Софроникс не только не потерял своего значения, но даже благодаря налаженным с епархиальным управлением связям упрочил его. Вся экономическая жизнь монастыря была в его руках, и в этом плане он составлял некую противоположность и даже оппозицию отцу Паисию, как человеку духовному и сосредоточенному на духовной жизни монахов и окормлении многочисленных паломников. Владыка Зиновий сознательно выстроил такую систему «противовеса» – она ему казалась оптимальной для руководства монастырем.

Из других гостей на обеде присутствовали наш городской глава, глава прибывших жандармов, сумрачный капитан с чуть раскосыми татарскими глазками, еще несколько представителей нашей городской «общественности». В частности, Сайталов Ким Викторович, распорядитель паспортного стола. Все ждали появления Смеркина Модеста Ивановича, знаменитейшего петербургского художника, взявшегося за выполнение заказа по художественному оформлению новых храмов монастыря. Наш владыка очень гордился своим знакомством с ним. Говорят, они познакомились на каком-то художественном салоне, куда владыка Зиновий, как человек, далеко не чуждый искусства, однажды заглянул. Но сейчас Смеркин задерживался, поэтому владыка, прочитав молитву и произнеся вступительную речь, благословив всех широким крестным знаменем, дал знак приступить к обеду.

Наша монастырская кухня потрудилась на славу. И не только. Специально для обеда были приглашен шеф-повар трактира «Три тысячи», а с ним и целая партия слуг и прислужников. Все – строго постное. Только свежеприготовленной рыбы было четыре вида, не говоря о маринованной и соленой. Кроме этого всякие рыбные расстегайчики, кулебяки, ватрушки вместе с разного рода соусами – грибными, соевыми, оливковыми. Про овощи и овощные гарниры уж и не говорю. На каждом столе громоздилось большое блюдо с отборными крупными раками. Отец Софроникс, говорят, организовал для их поимки специальную ночную ловлю «на факела», в которой участвовали наши городские мальчишки. Одного мальчика, провалившегося в яму, потом едва откачали. Но раки оказались на славу – крупные и отменно вкусные. Соответствовали и напитки. Тут были и специальные монастырские наливочки, которые у нас в

монастыре делались по старинным рецептам из собственных медов и ягод, и заказанные «елисейские» вина. Владыка уже в ходе обеда сказал, что, как сегодня все прошло организованно и чинно, так должно быть и при прибытии к нам государя. И посетовал на то, что «народу черного слишком много» будет – трудно управляться с такой массой. А план праздника следующий. Государь прибывает утром в воскресенье. Сначала молебен у сени с мощами, затем государь лично участвует в перенесении мощей в главный наш Троицкий храм, где пройдет литургия. Впереди должна идти новая, написанная «знаменитым художником», икона преподобного Зосимы Милостивого Скотопригоньевского...

И по принципу «упомяни и появится» – на обеде, как будто только и ждал этого момента объявления о себе, появился художник Смеркин Модест Иванович. Это был лет пятидесяти маленький пухленький и практический лысенький человечек, к тому же еще гладко выбритый. Его пухлость как-то не очень вязалась с угловатыми и резкими порывами головы и рук, которыми он сопровождал свои обычные движения. А постоянно подсмеивающиеся глазки так часто моргали, что создавалось впечатление, что ему в глаза что-то попало, и он никак не может выморгать это что-то, туда попавшее. Смеркин подошел за благословением к владыке и так низко склонился, что Алеше, сидевшему от него дальше других, показалось, что стал на колени. Он появился не один – монахи вслед за ним внесли икону и портрет преподобного. Когда портрет освободили от укрывавшей его бумаги, светская часть публики, те, кто хорошо знал преподобного, не могли удержаться от аплодисментов. Калганов даже крикнул «браво!», но тут же законфузился, хотя, впрочем, аплодировать не перестал. Сходство действительно было разительное. Преподобный Зосима был изображен в полный рост, в сером подрясничке, опирающимся левой рукой на палочку, а правую подняв в благословляющем жесте. Алеша во все глаза смотрел на портрет, и сердце его учащенно билось. Он долгое время не мог понять, что его так тревожит и волнует. При несомненном и даже поразительном сходстве – в портрете было и что-то как бы совершенно чуждое. Да, бывало, преподобный так опирался на палочку.... И бывало, так или почти так благословлял, но что же тогда не так? И вдруг понял. Смеркин, видимо, сознательно ориентировался на образ другого святого – преподобного Серафима Саровского. Его, хотя он еще и не был официально прославлен церковью, почитал и преподобный Зосима. Алеша слышал об этом святом от отца Зосимы и даже видел его «карточку» – плохую литографию с портрета, на котором преподобный Серафим Саровский и был изображен именно в этой позе. Смеркин, видимо, слыша в синодских верхах разговоры о намерении в будущем прославить и этого святого, решил, так сказать, подсуетиться. Создать новый канонический образ современного святого. Не важно какого – важно создать новый канон, но с узнаваемым и признаваемым авторством «великого художника».

А владыка Зиновий тем временем организовал прикладывание к «новозаявленной» (как сказал Ракитин) иконе. Все произошло неожиданно и сумбурно. Инициативу прикладывания к иконе проявил Калганов. Он встал из-за стола, умильно сложив ручки, и опустился на колени рядом с рассматривающим икону владыкой. Владыка понял, что от него требуется и крестообразно осенил Калганова иконой. Тот поднялся, сделал два поклона и после этого приложился к иконе, на которой преподобный Зосима был в поясном изображении, выписанном очень искусно – с соблюдением всех канонов, но и с несомненным внешним сходством. Вслед за Калгановым, шумно раздвигая стулья – к иконе потянулись и остальные. Смеркин оказался по правую руку от владыки, и, таким образом, прикладывающиеся к иконе гости оказывались и под его авторским «благословением», выражающемся в застывшей на лице гладенькой улыбке и еще более частом моргании глазок.

– Пойдем, старик, изобразим благоговение – чмокнем доску, – шепнул Ракитин рядом сидящему Алеше, но тот, словно намеренно опережая его, подошел и приложился к иконе, на этот раз перекрестившись и, по-видимому, с искренним желанием и чувством. Единственным, кто не подошел к иконе, оказался жандармский капитан. Вообще-то к нему никто не

относился с глубоким пиететом. Даже непонятно было, зачем владыка его вообще пригласил на этот обед. Ясно было, что он – только подручная пешка, посланная вперед соблудности приличия и произвести разведку, а основная охрана государя прибудет вместе с ним. Этот капитан хоть и встал из-за стола, но к иконе так и не подошел. На недоумение нашей публики он, чуть напряженно растягивая слова, сказал, что он – «другой веры», собственно, это выдавалось его татарским видом. А когда наш городской глава публично выразил неудовольствие, что, мол, в «чужой монастырь со своим уставом не ходят», этот капитан еще подлил масла в огонь общего неудовольствия, сказав, что у него есть разрешение на «несоблюдение обрядов чужой веры». Слова о «чужой вере» многих заделали, кто-то даже с другого конца стола сказал, что «мусульманским инородцам и нехристям» слишком много «дают воли». Капитан уже стал озираться по сторонам совсем уж затравленно, но неожиданно ему на помощь пришел Сайталов. Это был невысокий сорокалетний мужчина, тоже со слегка восточными черточками, впрочем, вполне русского гладковыбритого лица, но с курчавыми «по-пушкински» бакенбардами. (Его предок был корейцем, и по его завещанию имя «Ким» давалось в роду всем первенцам мужского рода через одного.) Ким Викторович был признанным главой наших скотопригоньевских либералов, и он, конечно же, не мог не выступить в защиту любых потревоженных «прав человека». Он только начал развивать свою речь против «сатрапства, живущего в нашей крови», пафосно помогая себе жестикуляцией правой руки, но был все же властно остановлен владыкой Зиновием, благодушно пошутившим удачным каламбуром, что «Бог един, а мы друг друга едим». А вскоре, то ли намеренно переводя разговор в другое русло, то ли решив высказаться о наболвшем, заговорил, добившись общего внимания, совсем о другом:

– Господа и друзья мои... Позвольте мне так к вам, уважаемым, обращаться. Хочу с вами посоветоваться... за дружеским столом, а и так оно попокладистее выйдет. Есть у нас небольшая проблема, так сказать, разногласие. Эх-ва – и у монахов бывает, не думайте, что все так гладко. И мы порой меж собой как кошки с собаками, хотя и нет – чаще как собаки в одном загоне – погрыземся да и помиримся. Но разногласия бывают, все же – как сказано в Писании – «и следует быть между вами разногласиям, чтобы определились искусные». Эх-ва. Вот – рассудите нас с отцом Паисием. По-братски, так сказать, рассудите.

Владыка Зиновий перевел дух после этого вступления, лукаво поглядывая в сторону отца Паисия, задумчивого ковырявшегося в тарелке, но на слова владыки поднявшим голову и как-то «по-благородному» прямо и внимательно уставя свой взор в лицо владыки.

– Он мне и сейчас уже целый час покоя не дает, когда, мол, народишко будем пускать к преподобному. Ничего, народ у нас выдержанный – потерпит. Я так думаю, что сегодня торопиться ни к чему – пусть и сень доделают, как следует, и чтение положенное пусть уставится, да и поздно уже – толпу под вечер в монастырь пускать. Это ж не успокоятся и ночью. Лучше завтра после государя и пустим. Понял, отец Паисий, так что отстань от меня. Эх-ва... Но я не об этом. – Владыка опять прервался, что-то сказав сидящему рядом с ним тощему архиерею. Алеше, внимательно наблюдавшем и прислушивающемся, ничего слышно не было. Но зато было видно, как этот архиерей в свою очередь что-то шепнул сидящему рядом с ним отцу Софрониксу, с чего тот радостно заулыбался. Иван тоже что-то сказал сидящему рядом с ним жандармскому капитану.

– Так вот в чем дело, господа!.. – снова вернулся к своей теме владыка. – Отец Паисий вот уже сколько убеждает меня, что дело монастыря – это молитва, сугубая молитва, так сказать. Эх-ва (владыка произносил букву «х» с отзвуком, напоминающим «ф»), кто же с этим спорит?.. И, дескать, а все, что мы тут с вами организовали и наворотили за последнее время – все эти построенные церкви, гостиницы, новая трапезная, вот – это все лишнее, и как бы даже не просто лишнее, а вредное... Что это только создает лишнюю суету в монастыре, отвлекает монахов от молитвы и вообще дело душевредное и даже гибельное... Правильно, я говорю, отец Паисий – а? – владыка Зиновий с не очень вяжущейся с содержанием речи улыбкой кив-

нул в сторону отца Паисия. Тот хотел, было, что-то сразу сказать, может быть, поправить, но владыка уже и не смотрел на него. – Что скажете, друзья мои? Рассудите нас. Иногда нам, монахам, очень даже полезно бывает послушать мнения светских людей. Ибо «мудрый слагает советы», то есть прислушивается к людям...

Первым на «провокацию» владыки сразу же отозвался Калганов – даже как бы встрепенулся. Петр Фомич поднялся из-за стола с выражением столь явного недоумения на лице, что глядя на него, невольно хотелось улыбаться и не принимать всерьез тему разговора:

– Как же так батюшка, как же так? – он непосредственно адресовался отцу Паисию. – Ведь это же добра мы столько сделали – столько благолепия!.. Церковки-то божие – как игрушки теперь у нас. Из столицы приезжают – хвалят. А людей сколько теперь к нам теперь! Вот и сам государь-император пожаловал. Разве не возрадоваться можно ли удержаться? Никак, никак!..

Калганова поддержали сразу с нескольких сторон с каким-то даже недоуменным раздражением в сторону отца Паисия. Последовала даже пара коротких речей в духе Калганова, только более резких. Но неожиданно на его защиту выступил Иван. Не вставая с места, он громким и только чуть дребезжащим голосом, сразу приковавшим к себе внимание и заставившим всех замолчать, произнес на одном дыхании следующую тираду:

– А мне кажется, что отец Паисий имеет в виду и пытается опереться на давний и даже стародавний спор между двумя течениями в православии: иосифлянством и нестяжательством. Спор, который по сути так и не решен в нашей церкви, а просто переместился с внешних острых столкновений во внутреннее подспудное течение. Ведь оба направления возглавили признанные святыми выдающиеся деятели. На стороне иосифлян – знаменитый проповедник и сторонник церковного благолепия Иосиф Волоцкий, а за нестяжательство стоял преподобный Нил Сорский. И мне кажется, что с этих пор в нашей церкви и монастыре всегда были представители обоих течений, за которыми стояла своя правда. Вот отец Паисий и является сторонником современного нестяжательства, суть которого и состоит в отказе от какого бы то ни было внешнего благолепия и богатства и сосредоточении монашеской жизни на сугубой молитве. Да, с этой точки зрения, внешние богатства церковного богослужения – не помогают молитве, а только мешают ей и кроме этого служат неким соблазном особенно на фоне нужд простого народа. Нил Сорский, кажется, даже не признавал металлических потиров и дисков и служил, по примеру игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского только на деревянных...

Иван слегка перевел дух, все время своей речи вращая указательными пальцами длинный полунаполненный бокальчик с вином. Алеше даже показалось, что есть связь между этим безустанным вращением и непрерывностью его речи.

– Но своя правда была и на стороне Иосифа Волоцкого и его последователей. Более того, можно сказать, что внешне эта сторона и оказалась победной. Ведь внешнее благолепие церкви говорит о небесном благолепии Христа и Его небесного Царства, служит, так сказать, неким прообразом этого Царства. Равно как и драгоценное облачение священства, против чего тоже выступали нестяжатели. Все это является отражением небесной славы и служит простому народу явным указанием на все ее великолепие. Ведь русские монастыри никогда не отгораживали себя от жизни простого народа, и все наши монастырские деятели, даже уходя на время в скиты и затворы, всегда возвращались к служению народу и отвечали на его потребности. А потребности у него – надо отдать должное русскому народу – были не только материальные, но и эстетические. Русский глаз должен радоваться, созерцая красоту, в том числе красоту великолепных архитектурных форм, красоту драгоценных окладов любимых намоленных икон и дорогого облачения священников. Без этой эстетики он чувствует себя обделенным и даже оскорбленным в своих лучших чувствах. Он – русский человек – пусть сам будет в лохмотьях и отрепьях, но церковь его должна стоять игрушкой: ее купола должны сверкать золотом, ее колокола должны гудеть на всю округу, да и ее священники выглядеть как ангелы небесные. В

этом и заключается эстетическая ценность православной веры, которую так хорошо чувствует простой народ.

Иван закончил, и вслед за последними его словами повисла недоуменная тишина. Было неясно: все это сказанное так длинно и так умно – в чью собственно пользу сказано? На лице Ивана словно слегка продергивалась, но никак не могла обозначиться ироничная улыбка, хотя это и могло только показаться, ибо его глаза смотрели строго, фиксируясь то на отце Паисии, то на владыке Зиновии, а то и подолгу задерживаясь на сидящем напротив его Алеше. Совсем уж раскрасневшийся от выпитого вина, владыка вдруг громко адресовался сидящему через тощего архиерея отцу Софронику:

– Ну а что скажут представители, так сказать, современного иосифлянства? Стяжатели-то современные?.. – он даже заколыхался от смеха, чрезвычайно довольный своею способностью к беззлобному подшучиванию. – Как богатства-то эти служат нашему эстетически одаренному народишку?.. Эх-ва, просвети нас, отец Софроникс!

– Я, Преосвященнейший Владыка, могу только, так сказать, фиксировать и созерцать великие благодати, истекающие из всех наших трудов и вашей, Ваше Высокопреосвященство, многозаботливой попечительности о нас... – вкрадчиво начал отец Софроникс.

– Преосвященство, пока только преосвященство, – поправил его владыка, впрочем, отреагировав на ошибочное увеличение его сана еще более широкой улыбкой. Отец Софроникс тоже ответил на это замечание вкрадчивой, как бы подавленной усмешкой.

– Так вот, продолжая мысль вашу, хочу подчеркнуть, польза от всех этих трудов и забот многообразная и взаимопользная – как народу, так и всему нашему замечательному православному отечеству вплоть до самых правительствующих иерархий и даже царствующей фамилии.

– Ты, отец Софроникс, не велеглась, а говори конкретно, – снова перебил его владыка Зиновий, уже как бы в некоем нетерпении. – Что делается для дальнейшего развития и процветания монастыря – выдай нам, так сказать, «парижские тайны» верных чад Зосимы Ското-пригоньевского... И он опять заулыбался, довольный своими ораторскими манерами. Слава о «велегласии» самого владыки Зиновия была хорошо распространена по всей нашей губернии.

– Ваше преосвященство, – все работает, налажено и готовится к дальнейшему развитию, – отец Софроникс сразу переключился на деловой, хотя и по-прежнему «вдохновенный» тон. – К нам заказы поступают ото всех почти обителей. Даже из Сергиевого Посада, Заказы на мощевички разошлись по всем церковным мастерским. Боюсь, даже не хватит святого праха, оставшегося после поднятия мощей нашего святого старца. От царской фамилии – заказ даже и с золотоделателями и ювелирами. Я уже думаю организовать ярмарку-распродажу древа от гробика преподобного. Может, саму домовину оставим – освящать на ней будем, а вот крышечку-то надо будет пустить на распродажу – кто же не захочет приобрести себе святыньку-то великую такую? А на гробике простыньки, подушечки, матрасики освящать будем. Особенно для больных-то! Со временем, думаю, и производство наладим. Надо будет швей выписать и пошивочную расширить.

– Эх-ва, это сколько ж больниц – если все узнают? – удивленно спросил владыка.

– Да-да, ваше Преосвященство, мы же в простыньки и матрасики земельку святую вшивать-то будем. Для больных чтоб в облегчение. Это ж какое великое дело! А потом и иконописную-то надо организовывать. Сколько заказов на иконки-то пойдут. Уже запрашивают... Сколько работы-то!.. Не провернуться... Мы вот начали трапезную для трудничков наших расширять – уж и не помещаются. Системку сделали свою тоже на пользу – по билетикам, все по билетикам...

– Что за билетики?

– А все в зависимости от важности, так сказать, работников. Самым важным – и питание важное – это по красным билетикам-то. Там и мяско бывает и часто весьма, если в скоромное-то время, а уж о рыбке и не говорю. Те, кто попроще – тем и еда попроще. Билетики

зелененькие. Ну а желтые – это уж совсем черному люду. Это вот, как сейчас, что понаехали. Эти и кашей с водой обойдутся. Оно и хорошо получается – и экономия, значит, немалая...

Отец Софроникс, словно забывшись, даже руки потер от радостного возбуждения.

– Вот, отец Паисий, это тебе в назидание все говорится, – словно подводя итог всему сказанному, вновь обратился в его сторону владыка Зиновий. – Полное и яркое сочетание материального и духовного. А как ты хотел?.. Эх-ва! Не на небе же живем, а на земле, ибо «перстью земной облачены и пресмыкаемся яко скоти». А значит, должны и материальную сторону жизни не забывать. Ибо когда плоть борет дух – се есть непотребство, но и когда дух плоть подавляет – тоже несть гармонии. Так как не зря говорится...

Но в это время раздалось нарастающее «а – а – ах!», заставившее владыку прерваться. От очередного порыва ветра, уже и до этого опасно колыхавшего шпалеры, портрет преподобного, поставленный на подоконник и приставленный прямо к этим шпалерам, стал заваливаться прямо на сидящего владыку. От окончательной катастрофы спасло только то, что сам владыка, видимо, чисто инстинктивно резко встал со стула, и портрет не успел набрать сколько-нибудь сильное ускорение. Но все-таки довольно внушительно ударил в высокий клубок, сбив его с головы владыки. Алеше даже показалось, что удар этот пришелся изображенной на портрете благословляющей и поднятой вверх рукой преподобного Зосимы. И Алеша тоже совершенно бессознательно вскочил и вскинул руки с каким-то детским, почти младенческим жестом, как бы желая укрыться и не видеть ничего перед собой происходящего. Жестом, столь похожим на жест его матери, чем в свое время так поразил Федора Павловича.

Все только успели выдохнуть, как сразу же из окон послышался какой-то нарастающий шум – крики, вой, ругань...

vII

монастырское побоище

А произошло следующее – истомившемуся народу удалось-таки прорваться в монастырь. Это произошло почти случайно – из-за несогласованности действий жандармов, охранявших вход под надвратной церковью. Одна смена из них ушла, почему-то срочно отозванная, а другая не успела еще прийти. У входа на некоторое время оказался только один полицейский. Кроме этого в народе распространился пущенный кем-то «верный» слух, что сегодня в монастырь и вообще пускать не будут. Это вызвало почти отчаяние, и когда полицейский остался один, народ, что называется, «пошел на штурм» – просто с отчаянным видом стал ломиться в проход, сметая заградительные стойки. И когда новая смена жандармов бросилась «затыкать брешь», этого уже сделать было невозможно. Люди, давя друг друга и не обращая на крики жандармов, как прорвавшая плотину полая вода, устремились в узкие ворота, откуда бегом же текли прямо к только что построенной сени над мощами преподобного Зосимы – только бы успеть к ним приложиться.

Первым, кто пришел в себя среди всех присутствовавших на обеде у владыки, оказался жандармский капитан. Что-то зыкнув не на русском языке, он сразу же сорвался вон и, похоже, наконец-то оказался в своей родной стихии. Растерявшиеся и кое-где просто сбитые с ног и задавленные жандармы, явно не могли справиться с заливавшим их народным потоком. Некоторые все-таки отчаянно ругаясь, пытались сдерживать толпу, но их обтекали со всех сторон и прорывались дальше. Нужно было во что бы то ни стало «заткнуть дырку». Капитан, собрав всех жандармов, пробился с ними вдоль монастырской стены ко входу. Но это было еще полдела – как остановить обезумевшую толпу, продиравшуюся внутрь монастыря как через горлышко бутылки? Выстрелы в воздух, которые он несколько раз сделал, кажется, никто за общим ревом муки и счастья не расслышал. Люди, правда, словно обезумели – смеялись и рыдали одновременно. Тогда была предпринята настоящая противостурмовая операция. Недалеко от входа лежали полураспиленные чурбаки толстых ветел. Их доставили в монастырь

«на дрова» к недалекой дровнице. Поскольку с левой стороны от входа, где они лежали, и куда прибыли жандармы, было еще и небольшое возвышение – отсюда и были атакованы прибывающие в монастырь новые толпы штурмующих. Уже первый, брошенный прямо на головы людей усилиями нескольких жандармов чурбак, произвел эффект. Несколько человек были сбиты, о них споткнулись и попадали другие – образовался первый затор. Еще пара чурбаков закрепили первоначальный успех. Количество падающих и загораживающих проход еще более увеличились. Было слышно как хрустят кости, а вой толпы стали порой перекрывать вопли несчастных искалеченных. Еще пара чурбаков перекрыла остающиеся лазейки – на какой-то момент возникло хрупкое равновесие, которое могло разрушиться в любой момент. Толпа могла очухаться и с удвоенной силой и отчаянием ринуться внутрь, и тогда уже ее бы ничего не остановило.

Но все решило бесстрашие и какая-то нечеловеческая энергия капитана. Вся немногочисленная когорта выстроившись в линию жандармов (их было не более десяти-двенадцати), вытащив ногайки, разом бросилась на последних прорывающихся и начала их немилосердно хлестать, причем, стараясь попасть именно по лицу и глазам, чтобы лишить способности к ориентировке. Вой, крик и жуткие маты заполнили собой все звуковое пространство в округе монастырского входа. Вид разъяренных и страшно матерящихся жандармов настолько был страшен, что даже мужчины и те поколебались в своем намерении проникнуть внутрь монастыря, не говоря уже о бабской половине, чей визг, видимо, напугал и тех, кто еще оставался снаружи. Какой-то окровавленный цыган, окончательно потеряв ориентацию, выл, тщетно пытаясь встать, и одновременно голосил что-то зычным голосом. Несколько тел оставались лежать возле чурбаков, и кто-то даже под одним из них.

Наконец, толпа сдалась и отступила. Осталось завершить успех. Расчистить пространство прохода, вытеснив из нее толпу и выставив по-новой заграждения. Но надо было что-то делать и с теми, кто уже прорвался внутрь. Капитан, разделив силы, и оставив половину жандармов в оцеплении входа, с остальной половиной устремился обратно. Здесь, у мощей преподобного Зосимы, стал разыгрываться новый этап этой драмы. И он произошел на глазах Мити, который, как мы помним, не пошел на обед к владыке, а был в это время как раз у мощей святого старца.

Отделившись от отца Паисия и всех его сопровождающих, Дмитрий Федорович не сразу отправился к мощам. Он сначала какое-то время, словно что-то пытаясь узнать, бродил по кладбищу, читая старинные надписи и подолгу задумываясь над некоторыми надгробиями. Наконец по главной аллее он и добрался до монастырской стены, где уже возвышалась наскоро построенная сень. Она представляла собой деревянный остов – как бы каркас, покрытый сверху шатровым деревянным чешуйчатым перекрытием с небольшим купольчиком и крестом. Эта сень покоилась на четырех резных колоночках, сделанных в виде коленчатых папирусных стволиков с открытым обзором во все стороны. Под сенью находилось возвышение, накрытое толстой парчовой материей с ткаными изображениями крестов и херувимчиков, и уже на нем покоились закрытые мощи преподобного Зосимы в продолговатой, чуть более полуметра шириной, высеребряной раке. Рядом находился покрытый красной тканью аналойчик, у которого стоял монах и читал псалтырь. Он был с непокрытой головой и волосами – уже заметно сед, хотя и не стар, и это был отец Порфирий, один из бывших келейников отца Зосимы. Отец Порфирий читал кафизмы и глубоко кланялся на каждое «Господи, помилуй» и «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», при этом как-то не очень складно искривлялся телом на бок и обязательно касался рукою деревянного настила над закрытой этим настилом могилой преподобного. Дмитрий Федорович, немного послушав чтение и какое-то время постояв рядом, крестясь одновременно с монахом, прошел и стал слева – как раз напротив могилы своего отца – Федора Павловича Карамазова. Крайний из столбиков сени почти упирался в край его могилы. Она вся была осыпана узкими полусухими, но частью еще зелеными листочками облетающей ветлы. Над ней стоял простой, но сделанный из дуба прочный крест, а на самой

могиле лежала черная мраморная плита с надписью «Федор Павлович Карамазов» с датами рождения и смерти. Эту плиту заказал года три назад Иван в том числе, чтобы предотвратить «подрывы» суеверных охотников за «мертвой землей». Плита была тоже густо усыпана листочками ветлы, но неожиданно по ее боковому краю Митя увидел какую-то, видимо, процарапанную не так давно надпись. Он наклонился ниже, расчистил пальцем налипшую желтую пыль с дождевыми потеками и все-таки смог разобрать торопливо, но тщательно процарапанное:

«Подлец был и подлец остался».

Очередной полусухой листик спланировал вниз, и Митя машинально поднял голову, чтобы посмотреть, откуда. Прямо над ним висела ветла, нижние ветви которой были еще живы, а вот верхние засохли и постепенно облетали. Когда Митя опустил голову обратно, он увидел, что свалившийся листик, упал за край плиты, но не свалился совсем, а оказался как раз посередине надписи, загородив собой союз «и». Надпись, таким образом, приобрела вид: *«Подлец был ... подлец остался»*, и это явно поразило Митю. Он какое-то время просто стоял, сминая и без того поврежденный еще при ударе отца Ферапонта обод своего цилиндра. А потом словно обессиленный опустился, сел прямо на край плиты и затрясся в беззвучных рыданиях, похоже, полностью потеряв ориентацию во времени и пространстве.

Из этого состояния его вывел только нарастающий и все ближе приближающийся шум. Это была первая волна ворвавшихся в монастырь паломников, со всех ног бегущих к сени с мощами преподобного. Митя удивленно смотрел на стремительно приближающуюся толпу, где было много баб, которые еще в движении начинали голосить что-то жутко жалостливое и визгливое. Наконец, заметил что-то неладное и прервал чтение отец Порфирий. Он удивленно повернул голову набок, да так и замер с приподнятой рукой, собиравшейся совершить крестное знамение, когда первые подоспевшие (в первой линии оказались исключительно бабы) заскочили на деревянный настил. Некоторые из них стали креститься, кое-кто даже стал на колени, но напиральная толпа быстро смяла все эти робкие следы благоговения. Вскоре она уже затопила весь помост и снесла отца Порфирия. Аналой был опрокинут, а отца Порфирия прижало прямо к мощам. К раке со всех сторон тянулись умоляющие руки в тщетном для большинства случаев желании дотянуться до раки...

- Батюшка, голубчик, спаси!..
- Зосимушка, помилуй!..
- Угодничек святой, помоги!..

Эти и другие трудно различимые вопли сливались в какой-то протяжный стон. Впавший в полный ступор отец Порфирий, словно распятый, раскинул руки по сторонам, как бы желая хоть чуть сдержать напор. Но все было тщетно. Поскольку никто не отходил от мощей – это при всем желании было сделать невозможно – а толпа все прибывала, то давление на помост над ракой все увеличивалось и увеличивалось. Вскоре оно стало таким нестерпимым, что прижатые к краю помоста завизжали благим матом и, опасаясь быть раздавленными, полезли наверх прямо к раке. Вот и ее уже не стало видно под плотным слоем обнимающих и обхвативших со всех сторон тел. Отца Порфирия тоже совсем не стало видно. Митя, который сначала все это наблюдал со стороны, тоже оказался вовлечен во все увеличивающийся водоворот клубящихся вокруг сени тел. Сначала его просто сильно отбросило прямо на могилу отца. Какой-то мещанин в длиннополом кафтане своей широкой спиной просто чуть не сбил его с ног. Чтобы не быть затоптанным Митя встал прямо на надгробную плиту.

– Люди, что вы делаете, люди!?!.. Нельзя же так!.. – как бы пробуя голос и хрипло сипя при этом, стал он выговаривать. – Лю... Лю... Лю... – Но сотрясаемый толчками уже новых людей, топтавшихся по могиле, не смог произнести желаемое.

Между тем случилось неминуемое. С хрустом стала заваливаться деревянная сень. Ее стойка со стороны особенно напиральной толпы просто не выдержала и сломилась. Деревянная чешуйчатая крыша сначала дрогнула, затем стала оседать на один угол вниз. Но сломленная

колонка задержалась на какое-то время, зато сверху сначала, не выдержав постоянных толчков, отломился и отвалился крест, а затем и весь деревянный куполок скovyрнулся на сторону и скатился по ставшей почти отвесно крыше. Но толпу это не образумило, казалось, она просто завывала еще отчаяннее и стала прорываться с еще большим напором, чувствуя, что конец всей этой вакханалии неминуем и уже достаточно близок. Ибо подоспевшая сюда от входных ворот часть жандармов во главе с неумолимым капитаном стала делать свое дело – с немыслимыми ругательствами расхлестывать ногайками толпу, оттесняя ее от мощей. Особенно жутко выглядел капитан. С выпученными вытаращенными глазами, повторяя какое-то татарское проклятие, он немилосердно бил своей шашкой плашмя по спинам и головам, не разбирая кто перед ним – мужчины, женщины или даже дети. Попавшие под этот натиск стали разбегаться, освобождая проход к мощам, к которым еще тянулись не успевшие к ним прикоснуться. А капитан уже сдирал с одной стороны помоста заскочивших туда плачущих то ли от благоговения, то ли от страха паломников. Еще один дружный натиск жандармов, и почти вся толпа схлынула от мощей. И тут Дмитрий Федорович, к этому времени всем этим водоворотом вовлеченный к сломанной стойке одной из колонн, обратил внимание на бабу, с ребенком на руках, которой так и не удалось пробиться к мощам. Она отчаянно рванулась вперед, проскочила под рукой у капитана и стала тянуть ребенка к мощам, чтобы коснуться их телом своего ребеночка. Девочка (это была та самая девочка, на которую обратил внимание и Алеша по дороге в монастырь) бессильно болтала головкой – явно была больной в роде расслабленности. Капитан сначала дернул прорвавшуюся бабу за плечо, но остановить не смог – только разорвал какое-то навороченное у нее на спине тряпье. Баба отчаянно закричала и еще сильнее рванулась вперед. Тогда капитан с размаху ударил ее шашкой по плечу. Удар пришелся по правой руке, которая держала ребенка, и девочка вывалилась у нее из рук, оказавшись на помосте перед мощами. Но баба, воя и стенья, продолжала пропихивать несчастную девочку вперед оставшейся непокаленной левой рукой. Дальше произошло, как потом скажет сам Митя – какое-то «дежавю». На капитана, развернувшегося спиной к еще неразбежавшейся окончательно толпе, с лопатой в руках бросился тот самый парнишка-трудник, который помогал растаскивать землю при поднятии мощей преподобного. Но в самый последний момент перед ним вырос Митя и успел прикрыть собой капитана. И опять он не смог полностью сдержать удара, только на этот раз не посоха, а лопаты. Удара, который снова пришелся Мите в голову, причем, в ту же самую рану, что осталась от удара отца Ферапонта.

Дальнейшие события Дмитрий Федорович уже видел и осознавал не очень четко. Кровь с удвоенной силой хлынула из вновь потревоженной и развороченной раны, сразу залив ему почти всю правую половину лица вместе с глазом. Но, опускаясь на землю, Митя все-таки увидел упавшую рядом с ним лопату и то, как жандармы схватили паренька и тут же стали его избивать.

– Не на... Не на... Не...не... – опустившись окончательно на колени, Дмитрий Федорович не мог произнести очередную фразу. Толпа уже разбежалась от мощей, но рядом с собой Митя увидел лежащую, похоже, в обмороке бабу с вывернутой в его сторону правой рукой. Митя, пытаясь унять кровь и нарастающий шум в голове, стал болтать ею по сторонам, и услышал, как в одно ухо к нему затек детский плач. Подняв голову и сильно развернув в сторону лицо, чтобы видеть одним оставшимся незалитым глазом, он увидел у мощей ту самую расслабленную прежде девочку. Ей было не больше двух-трех лет. Она стояла у сдвинутой, едва не перевернутой раки, держалась одной ручкой за ее бок, а другой, отчаянно оря, утирала бегущие из ее глазенок слезы. На ней была затрапезная, коричневая от грязи рубашонка, на груди перевязанная бесформенным узлом какого-то тряпья. При этом на каждый ор она как-то ритмично качала головкой, словно помогая себе вытолкнуть изнутри долго копившийся в ней воздух. Мите особенно бросилось в глаза, что на ее белобрысую головку с растрепанными

волосиками один за другим планировали и ложились узкими лодочками продолжающие облетать листья ветлы.

Книга третья

ДЕЛАСЕМЕЙНЫЕ

I

У ГРУШЕНЬКИ

Алеша быстрым шагом подходил к дому купца Самсонова, где, в одной его половине, вернувшись из Сибири, проживала Грушенька. Надо сказать, что обе эти части дома довольно разительно отличались друг от друга. Аграфена Александровна сделала из своей половины отдельный выход на противоположную сторону дома. Для этого пришлось значительно перестроить, а точнее оборудовать заново с противоположной стороны в саду двор с отдельным подъездом. Задача облегчалась, правда, тем, что дом был угловой, и подъезд к Грушеньке был сделан с торца этого массивного и мрачного каменного здания. Впрочем, Грушенька за месяц пребывания уже значительно оживила свою сторону. Фасад дома был заново оштукатурен с примесью какой-то розовой краски, крышу над входом поддерживали резные из светлого гранита колоночки, а росшие в беспорядке со стороны Самсоновых кусты бузины, смородины и крыжовника у Грушеньки уже были аккуратно подрезаны и окружены деревянными загородами.

Вопреки обыкновению развязный лакей в ужасно скрипящих сапогах (у Грушеньки теперь появился лакей мужского пола) попросил Алешу подождать, и только спустя минуту пригласил в гостиную. Они почти одновременно вышли друг другу навстречу: Алеша – из прихожей, а Аграфена Александровна – из своего рабочего кабинета, за которым был еще проход в ее спальню. Что можно сказать о том, как выглядела сейчас Грушенька? Она располнела, но располнела как-то «естественно», не бесформенно и безобразно, как часто бывает с русскими женщинами, что в какой-то момент перестают за собой следить и махают рукой на свой внешний вид. Точнее, так чаще бывает с женщинами, которые никогда и не следили за собой. Просто красота юности и молодости с ее естественно красивыми и гармоничными формами так же естественно исчезает у них по ходу их жизни. Но у Груши – не то. Как-то чувствовалось, что ее «естественность» – это результат напряженных, хотя и тщательно скрываемых усилий, усилий, львиная доля которых тратилась и на тщательный подбор соответствующего гардероба. Одетая она была безупречно – на этот раз в мягкое шелковое платье с каким-то фиолетовым отливом, что так гармонировало с ее темными (кажется, еще более темными, чем раньше) волосами, уложенными полукосой и опускающимися далее на прикрытые полупрозрачным шифоном плечи. Меньше всего за эти прошедшие тринадцать лет изменилось лицо Грушеньки – оно было удивительно красивым, как и прежде. Даже похудело немножко и все в нем, все его черточки, каким-то парадоксальным образом стали и строже, и в то же время развязнее. Словно им стал доступен для выражения гораздо более широкий диапазон эмоций и чувств, и только одна небольшая «горестная» складочка между бровями выдавала новое измерение во всей этой удивительно сохранившейся красоте, словно слегка портила ее и в то же время облакала новой непонятной глубиной.

Алеша, подойдя к Грушеньке, порывисто обнял ее и глубоко и страстно поцеловал в губы.

– Груня, радость моя!.. Если бы ты знала, что сейчас было в монастыре!.. – уже отстранившись, но все еще не выпуская ее из объятий, глухим голосом заговорил он. – Побойсь!.. Побойсь натуральное... Уроды, уроды!.. Что творят... Дмитрию тоже досталось... Не волнуйся – ничего серьезного, хотя и голову разбили... Что творят, что творят!.. – еще несколько раз повторил он, подрагивая головой, как бы желая еще раз поцеловать Грушеньку и едва удерживаясь от этого.

– Но это ладно... Это – наши дела... Но я по другому... Я по поводу Дмитрия... Груня, скажи, что делать?.. Я не могу быть по-прежнему твоим...

Грушенька, наконец, вывернулась из объятий, подошла и села на большой красивый диван, стоявшей у глухой стены ее отделанной с большим вкусом и изяществом гостиной, все предметы мебели которой гармонировали друг с другом светлыми ореховыми оттенками. Почти вся эта гостинная вместе с Аграфеной Александровной отражалась в массивном и широком венецианском зеркале, стоящем у торцевой стены слегка вытянутого в длину помещения.

– Это Дмитрий Федорович сам тебе сказал? – поправляя волосы, спросила Грушенька, и при произнесении имени Мити у нее как-то жестко дрогнули и сжались прекрасные большие глаза.

– Нет, сам – нет... Он у нас остановился, ты знаешь... Он не говорил. Он вообще о тебе не говорит... Я сам не могу..., понимаешь?.. Он какой-то другой. Я не могу его обманывать...

Грушенька немного ненатурально рассмеялась. Алеша стоял около дивана.

– Не можешь?.. Не можешь обманывать моего бывшего любовника? Не можешь быть соперником для моего любовника?..

– Даже если вы так и не стали мужем и женой, вы все равно больше, чем любовники – я это чувствую. Вы связаны... А я не могу быть между вами. И люблю тебя и не могу...

– А весь месяц до этого мог?

Лицо Алеши исказила мука боли. Он бросился к Грушеньке и стал перед ней на колени, взяв ее ладони в свои.

– Груня, не мучь меня. Я не знаю, как я буду дальше жить без тебя. Хотя и не знаю, может, уже и немного осталось.... Я просто понял – вчера понял, как он любит тебя. Это даже больше, чем любовь...

– Как же ты понял, если он не говорил обо мне? – Грушенька недоверчиво и лукаво пахнула Алеше своими темными бархатными глазами.

– Это необъяснимо. Он смотрит на меня и как будто все видит. И я смотрю на него и как будто все вижу.

– Да?.. А может ты и меня видишь?.. Или вы, мужички, только друг друга и способны видеть?.. Ах, он любит, а я не могу... Ну – посмотри внимательно на меня, что ты видишь?.. Ты видишь его и меня?.. Или еще кого-то видишь?.. Ну – между нами видишь? Или нет – Митя твой в сторонке стоит... Видишь?..

Какое-то новое – жесткое и страдальческое выражение появилось на лице Грушеньки. Грудь ее при каждом вдохе стала подниматься выше – она уже в упор смотрела на Алешу горящим взглядом, не отнимая однако своих рук из его.

– Подлые вы все мужики, подлые... Со дна подлые... Мстить вам буду... всегда...

– Груня, не мучь меня!.. Скажи лучше, что делать?.. – и Алеша зарыл свое лицо в руках у Грушеньки.

– Не знаешь?.. И я не знаю. А может она подскажет?.. Катерина Ивановна, свет мой – подите сюда!..

Алеша не успел отпрянуть от Грушеньки, когда из ее кабинета в гостиную вошла Катерина Ивановна. Она все это время там находилась и была свидетельницей разговора. Если бы Алеша был повнимательнее, то мог бы догадаться, хотя бы по поведению лакея, что его Грушенька была не одна. Это соображение в одно мгновение мелькнуло у него в мозгу, но сейчас было уже поздно. В отличие от Аграфены Александровны бывшая красота Катерины Ивановны не то чтобы исчезла совершенно, но как-то основательно поблекла, словно высохла. Да и сама Катерина Ивановна словно бы тоже высохла – простое закрытое серое платье почти намеренно выдавало ее худобу, на лице заострились выступы у глазничных впадин, когда-то пышные волосы были уложены простым узлом сзади, а движения рук и головы стали резче и

жестче. И только выражение лица осталось прежним – гордость и непреклонность выражались в каждой его черточке. Катерина Ивановна, выйдя из кабинета, прошла почти до середины гостиной и только оттуда обернулась вполоборота к Алеше, как бы не удостаивая его – а скорее обоих – своей уважительности.

– Так-то вы, Алексей Федорович, храните верность своей супруге, да заодно и отвлекаете, видимо, себя от... тяжелых обязанностей жизни. – В ее голосе звенели неприкрытый сарказм и презрение. Алеша, наконец, отпрянул от Груши и отстранился от нее, забившись в глубину дивана. Он был явно ошарашен и находился в ступоре. Краска стыда заливала его лицо. Грушенька видимо наслаждалась сценой и производимым ею эффектом.

– Свет мой, Екатерина Ивановна, скажите, какие обязанности у мужичков!.. Не смешите вы меня, моя великолепная барышня. Это у нас обязанности, а у них – одни игры. Игры в революцию ли, игры в социализм ихний выдуманный или игры с нами, женщинами. Вот уж поистине – чем бы ребята не тешились... Только и тешатся, что с нами и через нас, да и нас за игры свои почитают. А ведь мы не игрушки же, – в ее голосе опять появилась нарочитая манерность и слащавость. – Я и впрямь иногда думать начинаю, что у них, мужичков эдаковых, и мозги как-то по-другому устроены. Отчего у них одни игры на уме? Играют, а жизни не видят...

– Ну, не у всех... (Катерина Ивановна явно избегала как-то лично обращаться к Грушеньке). А только у тех, кто забывает о долге и чести. О долге перед народом и о своей семейной и личной чести.

Грушенька как-то длинно посмотрела на Катерину Ивановну.

– Ошибаетесь, свет мой, Катерина Ивановна, ой, ошибаетесь. А ошибаетесь потому, что сами можете увлекаться их играми. Только для них это игры, а для вас-то, может, и нет, – а? – и показалось, что в голосе Грушеньки прозвенело что-то очень искреннее. Но только на один миг, потому что следом снова зазвучали манерные как бы развязные интонации, через которые, однако, как бы пробивалось и что-то сердечное и искреннее. – Я-то вот, что думала. Что Алеша-то другой. Ведь правда так думала. Ведь сколько с Митенькой времени провела, сколько жизни на него потратила, изучила, кажется всего-то до дырявых носков, да и по нему всех других мужиков судила. И ведь не ошибалась ни разу, ну почти не разу-то. Думала, что Алеша другой. Я его вышним от себя судила. Да и не только от себя – вышним среди всех Карамазовых, отца ихнего, царство ему небесное, и посередь сыновей его... А он кинулся на меня, как и все... Как и всем – одного ему надобно-то. Вот что скверно-то оказалось. Эх, Алеша, Алексей Федорович, – и опять в ее голосе что-то зазвенело, – помнишь луковку-то? Ты тогда пожалел меня, подал мне ее, а ее я хранила – всю жизнь собиралась хранить в душе. Думала, что это подарок твой, один пусть маленький, но на всю жизнь – подарок-то, главное подарок!.. А оказалось, что ты потом за платой пришел за эту луковку – так взял и пришел. И плата-то той же оказалась, что и всем. Срамом тем же. Ох, скверно-то!..

– Так что, Катерина, свет, Ивановна, – ошибаешься ты, – в ее голосе зазвучало что-то жесткое и как бы тоже презрительное, особенно с тем, что она перешла на «ты». – Все мужики одним миром мазаны, как и все Карамазовы – все три братца ихние...

– Ну, одного из них, подруга моя незабвенная, по крайней мере, эта грязь не касается.

Катерина Ивановна словно решила перейти на предложенный ей тон и с откровенной ненавистью и жестко глядя прямо в глаза, перевела свой взгляд на Грушеньку. Та снова длинно взглянула на нее и вдруг расхохоталась. Сначала расколыхалась от смеха прямо на диване, а потом поднялась и, ненадолго войдя в свой кабинет, вернулась назад с какой-то шкатулочкой. И по-прежнему колышась от смеха, хотя уже и не столь натурального, направилась к Катерине Ивановне.

– Ох, не хотела я раньше времени секрета своего раскрывать – да видно уж минута, минутка-то такая. Такая веселенькая!.. Немного их, минуток-то таких в жизни. Когда потешить

себя можно и потешиться. Потешиться над... всеми. А что поделаешь, раз они такие... веселенькие и так любят-то поиграться. Поневоле потешишься... – говоря это, Грушенька, приоткрыла шкатулочку и стала одной рукой что-то там возиться. А стала прямо напротив Катерины Ивановны, как бы нарочно для Алеши, зайдя перед ней, чтобы ему был полный обзор обеих фигур. – Посмотри сюда, свет мой, Катерина Ивановна, какой я тебе сюрпризик-то приготовила. Денег ты у меня просила – вот это деньги твои... Раз уж хочется тебе поиграться в игры их революционные – бери, играйся... Тут все три тысячи, как ты и просила. Но только посмотри, во что я их завернула-то. Завернула-да, хотела так и отдать тебе, чтобы ты дома только развернула и догадалась... Да уж минутка такая откровенная – взяла и выдалась-то. – И она, наконец, развернула что-то долго разворачиваемое и махнула перед лицом у Катерины Ивановны. Это оказался белый шарфик – из дорогого батиста, с претензией на щегольство, мужской – такой носят только богатые и уважающие себя субъекты. – Узнаешь ли?.. Тут ведь и инициалы твои есть – сама ведь вышивала любимому муженьку.

Лицо у Катерины Ивановны стало походить на непроницаемую каменную маску, а острые выступы у глаз словно стали еще острее. Не говоря ни слова, она осторожно, словно боясь замараться хотя бы одним прикосновением, обошла загородившую ей проход Грушеньку и медленно направилась к двери.

– Да, забыл, забыл твой незабвенный – так и передай ему, чтобы впредь, как приедет – был повнимательнее... Вот так-то. Веселенькая минутка – не правда ли? – хотя на этих словах в глазах Грушеньки блистало что-то ледяное. – Да, а как же деньги? Возьмешь ли?.. На революцию, небось?.. Неужто отказываешься – гордость заела?..

Катерина Ивановна, уже почти выйдя из комнаты, остановилась в проходе. Потом медленно, точно механическая кукла, развернулась и направилась обратно к Грушеньке. Алеша с замиранием сердца наблюдал, как она медленно подошла обратно, но как только протянула руку за пачкой денег, та упала к ее ногам. Только секунду длилось ее колебание – и Катерина Ивановна стала нагибаться, и уже ее рука готова была коснуться пресловутой пачки, как Грушенька ударом ножки отправила ее под стоящий у окна столик. Кажется, все это было запланировано у нее заранее – так хладнокровно она выполняла все эти действия.

– Ну что – под стол полезешь-то? – ледяным голосом прозвенела Грушенька. И в этом звоне чувствовалось жестокое напряжение.

Столик был хоть и невысокий, но массивный, сделанный то ли из дуба, то ли из карельской березы, с искривленными ножками, с напичканными под крышку ящичками и дверочками, весь покрытый прозрачным блестящим лаком. Сдвинуть его с места одному человеку можно было только с очень большими усилиями. Но Катерина Ивановна не стала даже пытаться – она, кажется, уже приняла и свое решение. Подойдя к столику, она спокойно опустилась на колени и, запустив руку далеко под нижний его край, вытащила оттуда пачку денег, (кстати, перехваченную едва видимой ленточкой). Как будто только это ее интересовало, она шелестнула купюрами, словно бы проверяя наличность необходимой суммы, а затем вернулась к Грушеньке. Дальше произошло неожиданное. Свободной правой рукой три раза – каждый раз с противоположной стороны Катерина Ивановна ударила Аграфену Александровну по лицу. Лицо Грушеньки от каждого из этих ударов разворачивалось чуть не на треть в бок – такой силы были эти удары. Но ни та, ни другая при этом не произнесли ни слова. Только Грушенька от боли – а ведь это же было нестерпимо больно! – закрыла и сжала свои глаза. И открыла их, когда удары прекратились. Катерина Ивановна уже уходила, но уходя, она еще успела сказать Алеше:

– Надеюсь, вы, Алексей Федорович, оповещены по делу... А супругу вашу я считаю своим долгом поставить в известность.

Алеша так и сидел на диване с лицом, закрытым своими ладонями – он судорожно прикрыл глаза, когда Катерина Ивановна била Грушеньку по лицу.

– Люблю... Я все-таки люблю ее, – прошептала та, не замечая, как из левой ноздри у нее выглянула капелька крови. – Есть за что унижаться и за что умирать... А вы, Алексей Федорович, не приходите ко мне больше – прошла любовь... За луковку-то заплачено сполна.

II

лизка

Алеша вышел от Катерины Ивановны, спотыкаясь от расстройства и стыда. Он даже побоялся взглянуть в ту сторону, куда предположительно ушла Катерина Ивановна, а сам, перейдя на затененную сторону улицы, быстро направился домой. Идти было не очень долго – минут десять – но за это время перед его внутренним взором как-то очень ярко встали самые первые эпизоды его хоть и недолгой, но бурной, связи с Грушенькой. Это было похоже на какое-то затмение или даже раздвоение – Алеша ничего не мог поделать с очень большой своей частью своей души, влияющей на тело, или даже ее половиной, той, которую так неудержимо влекло к Грушеньке и, чувствуя, что он по своей воле никогда бы не мог остановить эту страсть, он даже был благодарен за этот разрыв с ее стороны. Оставался еще, правда, жуткий стыд – стыд перед Катериной Ивановной, а следом – и все сильнее – почему-то еще и перед Митей. Впервые он ощутил этот стыд вчера – во время первой встречи со старшим братом, а сейчас он затопил Алешу с головой. Подавленный этим стыдом он входил в калитку своего, хорошо нам знакомого, старого карамазовского дома. Было около четырех часов пополудни. Безоблачное солнце уже давно перевалило зенит и теперь лило свет не отвесно, а наискось, контрастно слепя и играя между освещенными пятнами на деревьях и все более темными прятками в кустарниках сада.

В одной из таких прятков между двумя разросшимися кустами смородины Алеша сначала услышал прерывистое поскуливание, а затем оттуда вырвалась большая лохматая собака – Шьен³ (так на французский манер назвал ее сам Алеша). Это была выродившаяся помесь каких-то крупных пород, взятая изначально для охраны, но вследствие своего несвирепого нрава служившая больше пугалом и устрашением. Шьен, словно вырвавшись от какого-то мучителя, пустился быстро по дорожке, но увидев Алешу, бросился к нему обратно, кося головой в кусты и поскуливая, словно прося у него защиты. И, ткнувшись к Алеше, тут же сел на задницу и вытянув ногу, стал лихорадочно лизать свое «причинное место», которое у него оказалось вываленным наружу. А из кустов, сначала неторопливо раздвинув ветви, как бы присматриваясь, кто это идет, затем и полностью вышла Лизка – тринадцатилетняя дочь Смердякова и Марии Кондратьевны, удочеренная Алешей и Lise. Это была довольно высокая девочка, одетая уже по-взрослому – в длинное и «господское» платье с брыжами на рукавах, но простоволосая и как-то уж очень коротко подстриженная – жиденькие волосы едва доставали ей до плеч. Лицом она напоминала скорее не Смердякова, а Марию Кондратьевну – ибо было круглым и тронутым веснушками, не без миловидности, но в то же время и с какой-то непонятной, даже пугающей развязностью. Выйдя из куста и пройдя пару шагов, она остановилась, наклонив голову, и исподлобья стала смотреть на Алешу, как бы ожидая его первой реакции. И если уж чем она напоминала Смердякова, то именно этим взглядом – каким-то до странности, учитывая ее возраст, презрительным и высокомерным.

Ее история стоит того, чтобы посвятить ей несколько страниц нашего рассказа. Несмотря на то, что она была брошена Марией Кондратьевной на руки Григорию и Марфе Игнатьевне уже в их «преклонном» возрасте, они – особенно Григорий – поначалу очень ревностно взялись за «восполнение смердяковской породы», как однажды высказался этот суровый старик и преданный карамазовский слуга. Девочке была найдена кормилица из недавно родивших мещанок, которая делилась с ней своим молоком, а Марфа Игнатьевна еще и сама порой за

³ «Chien» – собака (фр.)

ним ходила. Но по мере того, как эта девочка росла, их первоначальный энтузиазм стал постепенно уменьшаться. У Лизки, как ничтоже сумняшеся назвал ее Григорий, недвусмысленно ведя ее родословие от Лизаветы Смердящей, чем дальше, тем больше стали обнаруживаться довольно странные наклонности. Во-первых, это опять был ребенок «без благодарности», как очень точно определял Григорий характер юного Смердякова. Она не стремилась к своим приемным родителям, не бежала к ним со своими маленькими радостями и тревогами – напротив, отличалась просто удивительной для ее возраста нелюдимостью и равнодушием к какой-либо материнской или отцовской ласке. Во-вторых, ее «неблагодарность» дополнялась непонятной и странной для ее возраста любовью к потаенным, темным и грязным местам и к темноте как таковой. В отличие от большинства детей ее возраста она абсолютно не боялась оставаться одна, и как только встала на ноги, так стала забираться в разного рода «темные места» – под кровати, тумбочки, за шкафы и, что-то гугукая, возилась с разного рода хламом, который там находила. Ее не пугали ни тараканы, ни пауки, на даже мыши и ящерицы, а однажды в сыром чулане, куда ей удалось забраться, Григорий нашел ее возящейся с заползшим туда от уличной жары ужом, из которого она вила кольца и спирали, и тот, что удивительно, позволял с собой все эти опасные для него манипуляции. Она упорно игнорировала все попытки ее воспитания, и однажды, когда Григорий позволил себе хлопнуть ее по заднице за то, что она изорвала и измазала только что ей купленное платьице, сначала – точь в точь как Смердяков – забралась и забилась в угол, а когда Григорий, уже удовлетворенный своими воспитательными действиями, прилег отдохнуть на лавке, быстро подошла к нему и молча несколько раз ударила его кулачком по лицу, пока ошавевший воспитатель не перехватил ее детскую ручонку. Очередная неудача на этот раз «удочерения» не только сказалась на здоровье Григория, но привела его и к духовному кризису. Он еще и раньше, в бытность со Смердяковым, проявлял интерес к «нетрадиционным» верам – русскому сектантству – духоборам, молоканам и хлыстам, кои обретались в некоторых наших окрестных деревеньках, и наряду с Исааком Сириным иногда читал какие-то их листики и брошюры. И вот теперь, что называется, «пристрастился» уже всерьез к немалому страху и огорчению Марфы Игнатьевны. Ту ужасали слухи о «свальном грехе», которому якобы предаются хлысты, и она всерьез ревновала своего престарелого мужа, пару раз устраивая ему даже слезные сцены.

– Баба-дура, знай свое бабье определение – и молчи!.. – угрюмо отвечивал ей Григорий, а потом как-то однажды добавил. – Я не греха ищущу, а благодарности и мировой справедливости, коя в радости дается... В духовной радости! – как-то значительно добавил он, приподняв палец и затем поправляя им очки. – Ибо снисходит на рядящих божья благодать и поселяется в душах и снимает несправедливость с судьбы. Так-то...

Но однажды во время «радения» в избе у одной нашей переехавшей недавно в город мужицкой семьи, его разбил паралич. Привезли Григория на бричке домой уже без сознания, а через пару дней он и скончался к неопишуемому горю верной Марфы Игнатьевны. Но она не сломалась духом, выставила вон всех «хыластатов-супостатов», как она называла сектантов, намеревавшихся провести какой-то свой обряд при погребении, и похоронила Григория по строго православным правилам с отпеванием, панихидой, поминками по всем поминальным дням и заказом сорокоустов в монастыре и нескольких наших церквях. Лизке к этому времени пошел седьмой год, и ее судьба тоже изменилась. Алеша и Лизе решили взять девочку к себе на воспитание, стать ее приемными родителями, а Марфа Игнатьевна преобразовалась, таким образом, в приставленную к ней няньку. Они вместе перешли жить в просторный карамазовский дом, где было достаточно свободных комнат, а флигель, где они раньше жили, стал использоваться как склад и летняя «дача». Да и сама Марфа Игнатьевна после смерти мужа не могла спокойно оставаться в этом флигеле – ее мучили страхи и кошмары.

Перемена в положении Лизки практически никак не отразилась на характере девочки. Она спокойно обошла весь дом, исследуя все его закоулки и прятки – уже как бы не на пра-

вах приглашенной гостьи, а словно бы «хозяйки» и кажется, осталась довольной – как и своей комнаткой рядом с комнаткой Марфы Игнатьевны. Ей особенно понравилось, что в ее комнате за выступающей вперед кладкой печи, пустовало небольшое углубление, где даже в солнечный день было всегда темно. И первое время она любила просто сидеть там, недовольно, хотя и любопытно исследуя взорами всех тревожащих ее одиночество персон. Никто и никогда не видел, как она смеялась, да и простая улыбка на ее лице была очень редкой гостьей, как правило, всегда приводящая в замешательство всех ее невольных свидетелей. Ибо на то были какие-то ее особые внутренние и никому не известные мотивы, которые хозяйка их никогда не удосуживалась объяснять. Но надо было приступить к ее обучению, за что и взялась ее названная мамаша – Lise (мы будем называть ее так, как и в предыдущем романе). Учение шло не то, чтобы трудно, но как-то выборочно и странно. Все, связанное с русским языком и грамматикой Лизка словно бы игнорировала, а вот обучение французскому языку ее интересовало, но опять же под ее собственным углом. Она могла спросить, как называлось то и это, но никогда не учила язык по каким-то строго определенным правилам и методикам. Заинтересовала ее и математика, но только в своих рамках и ограничениях. Поняв, что такое сложение и вычитание, ее перестали интересовать остальные математические действия, видимо, она не видела в них никакой практической пользы, и заставить ее выучить, скажем, умножение и деление, уже не было никакой возможности. Если же учитель пытался проявлять настойчивость, то она просто откидывалась на стуле и вперивала в него свой неотступный и неподвижный взор, который мало кто мог вынести. В нем как бы стоял невероятно раздражающий в своей немой невысказанности вопрос: «Ты кто такой или такая, что учишь меня тому, что я и знать не хочу?» Какие-либо элементы исторических или географических знаний она вообще игнорировала – ее могло интересовать только то, что она видела своими глазами. С Законом Божиим, который ей приходил преподавать один уже немолодой церковный дьячок, вообще произошел конфуз. Все уроки Лизка упорно молчала, не отвечая ни на какие вопросы и провокации незадачливого учителя, но не отводя глаз в сторону и испепеляя его своим неотступным неморгающим взором. Пока тот не взмолился избавить его от такой ученицы, от которой он, дескать, потом полдня приходит в себя и не может спать, так как его и во сне преследует эти «жуткие глаза».

Но все это были «цветочки», ибо однажды Lise стала свидетельницей сцены, от которой у нее на некоторое время из-за сильнейшего переживания (а такие случаи иногда случались) вновь отказали ноги. Однажды зимой, вернувшись домой из приходской школы, где она преподавала основы арифметики и письма, Lise, как ей показалось, никого не застала дома. Пару раз позвав Лизку и не получив ответа, она подумала, что, видимо, Марфа Игнатьевна ушла вместе с ней на рынок или еще куда-нибудь, но, проходя коридором, заметила, что дверь в один из пристенных чуланчиков, на которые был так богат карамазовский дом, слегка открыта. Неизвестно отчего, но она уже испугалась и стала осторожно подходить к этой двери, ожидая чего-то ужасного. Страх ее еще больше усилился, когда услышала какой-то странный писк и непонятную задверную возню. Набравшись смелости, но уже холодея от ужаса, Lise распахнула дверцу и сначала застыла, а затем дико завопила от невозможной картины. Лизка сидела на полу в компании нескольких больших крыс. Причем, только одна из них бегала по полу – четыре или пять сидели или ползали по самой Лизке. Она же как пребывала в каком-то полусне – с расширенными расфокусированными глазами то ли гладила, то ли пыталась поймать проворно ползающих по складкам ее платья попискивающих и что-то вынюхивающих тварей. Эта картина, как я уже упоминал, стоила Lise обморока и временного паралича, но главное – навсегда поселила в ее душе мистический страх и ужас перед Лизкой, страх, который она уже не могла преодолеть.

Но и это еще не все. Вступив в возраст начала полового созревания, Лизка стала проявлять не просто повышенный, а какой-то болезненный интерес к интимной сфере отношений между мужчиной и женщиной. Правда, болезненный с точки зрения окружающих, но точно не

с ее стороны. С ее же точки зрения – это было, видимо, еще одно доказательство лицемерия и подлости взрослых, скрывающих от нее эту такую интересную для нее «тайну». Впрочем, тайна недолго для нее продержалась «тайной» – если уж ее что-то интересовало, то ничто не могло ее остановить в «жажде» познания – и весьма скоро стала явной, испытанной и примеренной к самой себе. И вот уже новая отвратительная и ужасающая грань облика Лизки проявилась со всей очевидностью – она чем дальше, тем больше стала наполняться какой-то отвратительной похотливостью. Тем более отвратительной, что еще в полувзрослом душевном и телесном облике. Это не было откровенным призывным урчанием и повизгиванием мартовской кошки, это было что-то другое – более скрытое за человеческим обликом, но не менее сильное в животном плане. И это сочетание – человеческого вида и звериной животности – и производило то отвратительное (а для кого-то и жутко соблазнительное) впечатление от этой тринадцатилетней девочки. В ней как бы сошлись все наследственные линии: сладострастие деда – старика Карамазова, извращенная бездуховная хитрость и умственная изворотливость отца – Смердякова, юродивость бабки – Лизаветы Смердящей. Что ей досталось от матери – Марьи Кондратьевны, можно только предполагать, но, кажется, тоже ничего хорошего. Впрочем, все эти наследственные линии не полностью раскрывали ее внутренний и внешний облик. Было в ней еще что-то, какая-то необъяснимая тайна, что и влекла к ней, и заставляла содрогаться от ужаса. «Потому что дракон...» – наверно к месту вспомнить по этому поводу слова старика Григория, когда крестили Смердякова. Видимо, старик знал больше, чем мог высказать на словах. Кстати, во время крещения Лизки, на котором Алеша и Лизе присутствовали в качестве восприемников, она не издала ни звука, так что удивленный священник, дважды погрузивший ее в воду, вынужден был даже тревожно повернуть ребенка к себе – не захлебнулась ли. И третий раз, уже не испытывая судьбу, просто полил ей на голову воду из ладошки. А когда оформляли документы на ее удочерение, пришлось разрешать это формальное препятствие – ибо родители, пусть даже приемные, и родители крестные не могли быть в одних и тех же лицах. Но еще прежний архиерей владыка Захария – все-таки дал добро «в качестве исключения», ибо, как он добавил: «пути Господни неисповедимы», и, мол, никто не мог знать заранее, что «крестных Бог со временем приведет к нарочитому удочерению».

– Лиза, я сколько раз тебе говорил – не трогай пса... – Алеша попытался придать строгость голосу, но никак не мог найти нужную точку. Кроме этого его страшно смущал продолжающий у его ног зализывать свое «хозяйство» Шьен. Лизка, подойдя еще чуть ближе, казалось, понимала его смущение и получала удовольствие от созерцания всей этой неловкой сцены. На ее лице, выглядевшем старше ее реального возраста, застыло подобие презрительной полуулыбки. Алеша, наконец, догадался ткнуть ногой Шьена, и когда тот, вскочив на ноги, вопросительно на него уставился, еще раз обратился к Лизке:

– Что, мама дома?

– Мамап сегодня никуда не уходили, а вот Дмитрий Федорович пришли совсем недавно и просили, если вы придете, так передать вам, что они очень хотели бы вас видеть.

Голос ее был глуховат, но в то же время тонок и неестественно однотонен. Словно бы она читала по написанному.

– Он в доме?

– Дмитрий Федорович просили передать, что они в доме не будут находиться, а ожидают вас в саду.

– В саду?

– Именно, в саду, в беседке, и сказали, что очень удивлены, что старой беседки не обнаружили по существованию.

– Ты это, Лиза... Скажи, никто не приходил в дом за время моего отсутствия? Может, посыльный от кого-нибудь?

– Я намеренно не видела.

– Хорошо...

Алеша еще чуть потоптался в нерешительности. На самом деле он волновался, успела ли Катерина Ивановна привести свою угрозу в исполнение. Скорее всего, еще нет, но могла сделать это в самое ближайшее время.

– Ты это, Лиза... Если будешь еще в саду... Если кто придет – посыльный там от кого-нибудь, с запиской для кого-то – для меня ли или там мамы – дай мне знать, пока мы с Дмитрием Федоровичем будем в беседке... беседовать.

На лице у Лизки проявилась опять как бы странная полуулыбочка с оттенком презрения – словно бы она догадывалась о чем-то.

– Вот, Лиза... – Алеша хотел еще что-то добавить, но не найдя слов, кликнул Шьена и поспешил за ним в беседку. Кстати, по поводу Лизы, Лизки и других обращений, принятых в их семье. Алеша с Lise попытались было, как только взяли девочку к себе в семью, отучить ее от этого «низкого» обращения «Лизка», которым ее все семь лет кликали Григорий, Марфа Игнатьевна, да и остальные. (Удивительно, как быстро все привыкали к этому обращению – оно словно намертво приставало к тем, кто к ней хоть раз так обратился.) Но не тут-то было. Девочка упорно игнорировала другие, более «благородные» формы имени – Елизавета, «Лизон» или даже просто «Лиза». Она делала вид, что их не слышит. Но через несколько лет упорной взаимообоюдной борьбы, когда даже Марфе Игнатьевне было запрещено называть ее «Лизкой», был достигнут некоторый компромисс. Она, как бы нехотя и вынужденно, но все-таки стала отзываться на «Лиза», но только от своих приемных родителей – Алеши и Lise. Все остальные могли добиться ее внимания только в ответ на обращение «Лизка». Что до ее самой, то Lise и Алешу она на французский манер называла «тапан» и «рара», но только, когда говорила о них в третьем лице. Когда они разговаривали друг с другом лицом к лицу, она никогда не удосуживалась использовать какие-нибудь обращения, сразу говоря, что ей нужно.

III

Митя. беседа в беседке

Новая беседка располагалась в саду на месте старой, только сам сад к этому времени значительно расширился. Соседний с карамазовским домик – читатели должны это помнить – принадлежал Марии Кондратьевне с ее матерью и, уезжая из города, они продали Алеше и Lise этот домик с садиком, – там и располагалась беседка, где в свое время Митя беседовал с Алешей и караулил Грушеньку. Забор между садами двух домов был снесен, сад объединен в единое целое, а в хибарке к настоящему времени проживал все тот же отставной солдат Фома, исполнявший обязанности садовника и ночного сторожа – т.е. работу, которая раньше лежала на плечах Григория. Старая беседка совсем развалилась от ветхости, и несколько лет назад Алеша нанял артель плотников, которая под руководством Lise и соорудила новую беседку в «восточном стиле». Она по периметру состояла из тонких резных колоночек, которые вверху объединялись ажурной решетчатой резьбой, напоминающей арабески. А сверху деревянной крыши еще и конек в виде полумесяца. В центре беседки теперь был круглый столик, а мягкие и довольно низкие, оббитые кожей лавочки напоминали турецкие диваны. Видимо, для Дмитрия Федоровича они в виду своей невысокости представляли неудобство, поэтому он сидел не на них, а прямо на деревянной периле, идущей по кругу всей беседки. На голове у него белела залепленная пластырем платка.

– Алешка, ну наконец – ты!.. – соскочил он с места, звякнув бутылкой и устремляясь навстречу быстро подходившему Алексею Федоровичу. – А то я тут уже от грусти обмывать начал местечко... Памятное, памятное – только к чему эти все решеточки? – уже обнимая и заводя Алешу внутрь, проговорил он. – Но я не об этом сейчас... Алешка!.. Алешка!.. Что ж это делается – а?.. Я от Паисия... Пятеро покалеченных!.. Пятеро. Один тяжело – может не выжить... Мы с Паисием, с монахами таскали их, укладывали... А Паисий плачет, плачет

над ними... «Родненькие, говорит, простите – родненькие!..» Что ж это делается, Алешка?.. Шашками бить?.. По живому – по людям?.. По бабам тоже?..

Алеша сел на один из диванов, а Дмитрий, пройдясь возбужденно по всему периметру беседки, вновь уселся на периле и, всхлипнув, хлебнул прямо из бутылки.

– Нет, Алешка, братишка ты мой, я все понимаю и никого не осуждаю... Никого... Не смею. Ибо *подлец был и подлец остался*... Не смею больше – не мне осуждать кого-нибудь, подлецу из подлецов... Но я понимаю. И даже революционеров со социалистами и бомбистами всеми купно... Если это все видеть, если это все только видеть... Черт!.. Черт!.. Алешка! Я и лицо этого капитана помню... Когда он рубил – да, рубанул шашкой по этой бабе с ребенком... И сына ее!.. Представляешь – это сын ее бросился на капитана с лопатой, а он в монастыре трудником... И его понимаю... И капитана понимаю... Не осуждаю!.. Не осуждаю, но и принять не могу!..

– Что с ним? – вдруг спросил Алеша, напряженно взглянув на Дмитрия.

– С Максениным-то... Трудником этим? – икнув, переспросил Митя. – Да, страшного ничего. Избили только сильно жандармы... То есть как ничего!.. Все страшно – невыносимо страшно, Алешка!.. Эх, ты бы видел их лица... Алешка, откуда в людях столько злости?.. Это натурализм злости!.. Это реализм какой-то inferнальнейший! Сон реализма!.. Монастырь – толпы, крики, вои, ужасы, тут же мощи святые – и жандармы лупят всех подряд... Это у мощей-то! И девочка... Дите это... Представляешь, Алешка, – она же ведь исцелилась. Я сам видел – сам, понимаешь? Она, маманя ее, ее тянет к мощам, а капитан ее шашкой по руке, но она другой ее дотолкнула. Я уже потом смотрю сквозь кровищу свою – стоит... Плачет и стоит – сама. А до этого и головку-то не могла держать. Только не верит никто... – и Митя безнадежно махнул рукой и снова хлебнул из коньячной бутылки. – Ракитин смеется... Он всегда смеется. Мол, если бы тебя об мощи, а не об лопату, головой шандарахнули, ты сам бы от чего хочешь исцелился... Не верит... Представляешь, никто не верит. Даже в монастыре – и те не все. Паисий один верит, и еще кто-то... Паисий – душа... Я, Алешка, знаешь, пойду к нему ночевать. Он сказал, что выделит мне келейку. Не могу я здесь... Еще ночь в доме – не выдержу. Я тут прошелся по дому с Марфой Игнатьевной – как в аду побывал. Все призраки воскресают и лезут из всех углов. Да и Марфа плачет – тяжело ей... Я и сейчас только вот через это, – он указал на бутылку, – могу здесь находиться. Тяжело мне, Алешка, тяжело – пришел-вот только тебе сказать...

– Ты бы, может, поменьше-то пил? – с напряженным состраданием на лице спросил Алеша.

– Эх, братец, ты мой Алешка! Я не пью – я горе заливаю... Помнишь, раньше здесь же говорил, что лакомствую?.. Это я тогда лакомствовал, свин, а сейчас мне этот коньяк колом становится, да только горе глушит все же... Я, может, только сейчас понимаю наш перестрадальный русский народ – почему он пьет... Сам посуди. Тут два только варианта в этой inferнальщине – как в сказке – налево пойдешь, направо пойдешь... Тут или за топоры браться надо и за бомбы или – да, или вот за бутылку. Нельзя по-другому – с ума сойдешь. Вот и пьют русские, чтобы inferнальность эту чертову не видеть... Жуть реализма сна этого чертова...

И вдруг вне какой-то связи с предыдущим брякнул:

– Ты у Груши был?

Алеша опустил голову и даже закрыл глаза от затопившей его волны стыда:

– Был...

– Нет, Алешка, братец ты мой милый... Не осуждаю. Никого – и тебя тоже... Только как же и ты-то под Грушеньку мою угодил?.. Эх, верил я и надеялся – не съест она тебя, не изотрет между жерновов... Видно права поговорка: сыта свинья – а все жрет, коль баба есть – мужик... Ну, не мучься, не красней так – так горю не поможешь... Поглотила inferнальница... Знаешь, Алешка, а ведь она мученица. Настоящая, веришь ли – что настоящая? Для всех –

баба дурная и гулящая, а для меня мученица, – я ведь знаю, что говорю. Мужичья мученица... Нет, мужская му... От мужиков... Фу – черт, сказать не могу. Слогом не владею. Необразован. Только знаю, что правда это. Расскажу тебе скоро. Вот мужества от подлости своей наберусь и расскажу. Я тебе много что расскажу... – он опять хлопнул из бутылки. – А я как спросил у Лизки твоей Смердяковской, где, мол, Алексей Федорович, так и все понял по ответу ее. «Рара, это она говорит, не комфортно дома (заметь, так и сказала – не комфортно), он и в других бывает местах обитания». И смотрит так – чисто по-смердяковски... Исподтишка, как он умел только... Мол, понял ли все, али еще надо что намекать. Да – порода Смердяковская...

– Она – не Смердякова, она – Карамазова, – с мучительной гримасой на лице, отрывисто сказал Алеша.

– Нет, Алешка, она – именно Смердякова. Поверь мне, и еще докажет это... Я как увидел ее – так и вздрогнул. Вроде не похожа снаружи, а взгляд... Ох, взгляд этот... смердяковский... Ты знаешь, снится он мне иногда.

– Кто? – Алеша вскинул голову, даже будто бы вздрогнул.

– Смердяков, голубчик... Без иронии говорю, не юродствую...

– И что?

– Молчит больше – смотрит только. А смотрит хуже, чем говорит. Лучше бы уж матами обложил... Знает – и оттуда знает, как вымучить душу. Именно этим своим молчанием... Не осуждаю, не осуждаю – ибо достоин... И страшно, страшно мне, оттого, что догадываюсь... Догадываюсь, что сказать хочет.

Алеша на этот раз молча и тоже как с некоторым испугом вопросительно качнул головой.

– Не любили мы его, понимаешь – не любили... За банную мокроту и курицу считали... Не любили. Как бы и не замечали вовсе – так маячит рядом какое-то недоразумение. Пользовались только его каждый по-своему. Да – не любили...

– Да и за что любить-то было? – едва слышно прошептал Алеша, опустив глаза.

– Вот!.. Вот, Алешка!.. Вот!.. – даже как бы в восторге стал приподниматься с места Митя. – Вот! В самую точку!.. В самую середочку!.. В темешко обушком... Ты сказал сейчас один из главных вопросов... Который мучит меня... И всю каторгу мучил... За что любить-то!? Инфернальнейший вопрос... Квинтэссенция вопросов, я бы сказал!.. За что любить?.. Э – да пошла ты, не та минута теперь!.. – неожиданно он прервал себя и швырнул недопитую бутылку в кусты. – Теперь не нужна, ибо на главное вышли. Не страшно уже... Вот, Алешка, братец ты мой. Я что думаю – любовь – она за что или просто так? Настоящая любовь – а?.. Я Грушу люблю иль она меня любит – за что или просто так – а?.. Как мекаешь?.. За инфернальные изгибы или за душу, или вообще ни за что?.. Вот и ты в любовники ее вышел – а я все равно люблю... Тогда за что?.. Вот и думаю я, Алешка, что любовь – это когда ни за что... Настоящая, говорю, настоящая, не кобелиная и не сучья – понимаешь, о чем я – а настоящая... Бог нас за что любит? А ведь любит же Он нас – а за что?.. Знаешь, за что?.. За то, что мы его дети. Сраные, вонючие, но все-таки дети. Как для каждой матери ее чадушко, сопливое, подлое, ледашее, но оно – самое лучшее, и она любит его не за что-то, а просто за то, что оно ее... Христос любил ли Иуду, как думаешь?

Алеша чуть оторопел от неожиданного вопроса.

– Я не знаю.

– Вот и я не знаю... Только знаешь, как Он его назвал?.. Друг!. Да – друг!.. «Друг, зачем ты пришел?» Значит, любил все-таки. Того, кто его предавать пришел!.. Но он остался его другом – понимаешь?.. Иуда – все-таки Его был, Его ученик, Его чадушко, сопливое, сраное, предательское – но Его!.. И Он продолжал его любить, хоть тот убивать пришел... Улавливаешь мысль? А теперь – самое главное... Когда Бог любит людей – я это понимаю. Мы – его дети... Но мне за что любить других людей?.. Они – кто мне?.. «Возлюби ближнего как самого себя...» Но за что? Я им не мама и не папа – за что мне их любить?.. За что мне любить Грушу? Кто

она мне?.. За что ей меня любить, мерзавца и подлеца последнего? Кто я ей?.. Подлец только – подлец и есть... Не за срам же?.. Так за что?.. Алешка, можешь ответить?

– Ты хочешь сказать, что мы можем любить друг друга только как братья и сестры? Только если... мы братья и сестры?

– Алешенька, братец ты мой дорогой.... Да!.. Да!.. Да – и еще раз да!.. Вот как ты!.. Ты же мне брат – и я люблю тебя. Веришь, Алешка, что я люблю тебя?

– Верю. И я тебя люблю.

– Вот!.. А вся загвоздка в том, вся мудрость мировая и вся гугнявина невозможная – увидеть в каждом этого брата или эту сестру... Вот – как я в тебе его вижу и ты – во мне... Увидеть и полюбить. Отец-то у нас у всех один, значит, мы – братья и сестры... И все!.. И ни за что! Полюбить ни за что. Понимаешь – ни за что!.. Просто потому, что ты мне брат или ты мне сестра... Все!.. Все!.. О – как я об этом думал!.. Как много – чуть с ума не сошел. А как понял – так и не осудил... Как можно кого-то осуждать?.. Капитана этого жандармского, запластовавшего бабу шашкой, или Ферапонта, или Христофорыча моего... Это же братья мои. Я буду плакать за них, но не осужу...

– Христофорыча?..

– Расскажу, неупустительно расскажу – не спеши... Это я наперед лезу, чтобы потом отступа не было... Подожди – мы о Смердякове же не кончили. Ты понял, к чему я?.. Мы не любили его. А ведь он нам брат был... Причем, самый настоящий брат, а не брат по человечеству, так сказать... То есть, не только потому, что и у него отец Бог, а мы все его дети, а и потому, что и земной отец у нас был общий...

– А может для него Бог и не был отцом?..

– Алешка, как это?.. Ты меня не путай... Он же тоже человек.

– А если этот человек – взял и убил другого человека?.. А если из-за этого человека не один смерть принял, а многие сотни и даже тысячи? А если и многие детки невинные в том числе – тогда как? Тоже любить?.. Тоже брат?..

Алеша впервые проговорил так длинно, но словно бы наболевшее, хотя тут же попытался сдержаться, опять, как в келье у Зосимы, чуть заколыхавшись лицом вперед-назад. Митя как-то сразу погрузился и словно бы сдуслся. Потом спустился с перилы и сел рядом с Алешкой.

IV

исповедь проснувшегося сердца. лаокоон

Братья какое-то время молчали, словно оба собираясь с необходимыми внутренними силами. Молчание прервал Митя:

– Ты, вот, сейчас словно словами Ивана заговорил. Или еще кого... И мне, знаешь, как по сердцу резануло – холодное что-то... Эх, откладывал я эту минутку – думал и не состоится вовсе она, а сейчас чувствую – будет и состоится, и нечего откладывать. Выложу, выложу, Алешка, хоть и тяжело и стыдно мне будет, хоть и подлецом буду в твоих глазах, но все выложу – не утаю. Я уже не могу удерживать – удержу не хватает... Не могу. Как сегодня глаза этого капитана юродивого, Снегирева, увидел – я ведь узнал его, и он меня узнал – доподлинно, верно говорю – увидел себя в его глазах и он меня в своих – и бороденка-то его дрогнула. Как и тогда, тринадцать лет назад. Я его еще только собирался за эту бороду на улицу вытащить, а уже все увидел – и он увидел, словно наперед, и бороденка, мочалка его, как потом пацаны-мальчишки дразнили, – дрогнула... Как сейчас... Фу – я сбиваюсь что-то... Ты, Алешка, не давай не сбиваться, а то я не dokonчу, а кончить надо... Сон, Алешка – все сон. Тайну, хочешь, тебе открою?.. Да не тайну – а истину, а истина – она ведь всегда тайна... Да, Алешка – мы спим все, все сон вокруг... Сон реализма, ибо реализм, кажется, продолжается, но это не наяву, а во сне – сон реализма, или так – inferнальнейший сон реализма... Вот истина в чем. Все спят...

Все спит кругом: везде, в деревнях, в городах,

В телегах, на санях, днем, ночью, сидя, стоя...
Купец, чиновник спит; спит сторож на часах,
Под снежным холодом и на припеке зноя!
И подсудимый спит, и дрыхнет судия;
Мертво спят мужики: жнут, пашут – спят; молотят –
Спят тоже; спит отец, спит мать, спит вся семья...
Все спят! Спит тот, кто бьет, и тот, кого колотят!..

Продекламировав, Дмитрий Федорович замер в каком-то внезапно налетевшем мучительном вдохновении, словно не в силах справиться с ним.

– И я сплю? – вдруг отрывисто спросил Алеша.

– И ты... Ты, может, даже и глубже всех, Алешенька мой милый... Ибо чувствую, что решился во сне этом действовать – чувствую и знаю это. А кто во сне решится действовать от себя и от своего понятия – тот и спит глубже всех... Не понимаешь – ну сейчас, сейчас, подожди...

Митя внезапно соскочил с дивана и выпрыгнул из беседки. Полминуты раздавался только хруст раздвигаемых ветвей и шелест травы и листьев.

– А вот, она – черт, не вся еще вытекла... Нет, не могу без нее пока – духу не хватает, – вернувшись в беседку и залазя на перилу, пробормотал он. – Прости меня, Алешка, – и он сделал глубокий судорожный глоток из бутылки, практически опорожнив ее остатки. И снова продекламировал:

Уста молчат, засох мой взор.
Но подавили грудь и ум
Непроходимых мук собор
С толпой неусыпимых дум...

Да-да – этот собор непроходимых дум... Мук то есть... Тяжело... Видел ли ты, Алешка, когда-нибудь глаза только что родившихся младенчиков – вот только что?.. Ну, день или два – неделю еще, максимум месяц?.. Видел ли – замечал ли, какие они, глазоньки эти детские, умные – а?.. Умные, потому что страдающие. Потому что он еще не спит, не заснул – и видит мир, каким он есть: ужасным, холодным, одиноким... А себя – беспомощной козявкой. И от ужаса этого страдает. Страдает и от холода этого и безразличия, и от ужаса одиночества – и вообще от ужаса inferнального, коим весь мир этот наполнен. А коль страдает – то и умен, потому что только от страдания и умнеют, только от страдания этого самого ум и не засыпает... Но посмотришь на него потом – через месяц, два, полгода, год – все!.. Пустота!.. Тупость одна в глазах!.. Довольствие и пустота – заснул!.. Да – уже заснул... А почему? А потому что все только и делают, что стремятся утолить его малейшие страдания. Чуть подмокшел, заорал – подмыли, чуть есть захотел, заорал – и сиську в рот, холодно, в рев – и одели, одиноко – попищал и взяли на руки... И тут, Алешка, происходит самое страшное. Он начинает думать... Точнее, не знаю, как сказать – думать-то он еще наверно не может, но приходит чувство, может быть... Чувство убийственнейшее, inferнальнейшее, ибо лживое насквозь... Черт!.. Чувство, мысль, идея, ощущение – что жить тут, на этой земле, в принципе и не так-то уж и плохо... И это конец, Алешка!.. Ибо ум тонет во лжи этой... Конец – ибо тут засыпание, с этой мыслью и происходит засыпание ума, начинается этот гибельнейший и заразительнейший сон – реализм убивает ум и начинается этот всеобщий и подлейший сон реализма этого проклятого. И что ты думаешь? Этот сон потом длится – сколько бы думал? – да, не поверишь, всю жизнь!.. У большинства людей – девяносто девять и девять десятых процента, быть может, людей – всю жизнь... Они живут, растут, женятся, замуж выходят, детей рожают, стареют и при этом спят. Да, Алешка!.. Они так и думают, что жить-то по-большому счету можно и здесь, главное –

устроиться как-то – и не беда, если при этом кого и погрызть приходится и подвинуть... Но – подожди, об этом после... О чем я? Да о сне этом проклятом... И что ты думаешь, когда они просыпаются – ибо просыпаются все же неизбежно и *неупустительно*, как любил мой Христофорыч говаривать...

– Когда?

– Когда?... Когда умирают, Алешка... Когда умирают, тогда и просыпаются – чтобы больше не заснуть уже никогда. И опять видят этот мир таким, каким видели его в момент рождения – ужасным, холодным, одиноким, и себя – козьявкой, которую сейчас раздавят... Да-да, и рожи еще видят этих, которые неизбежно вот сейчас будут их давить и рвать на куски, рожи, от которых уже никуда не денешься, от которых выть хочется и с ума сойти – и ведь многие сходят... Если бы ты их видел, Алешка!..

– Ты их видел?..

У Алеши при разговоре появилась какая-то новая манера – быстрых вопросов, вопросов вдогонку, словно он спешил получить недостающую информацию. Но Митя на этот раз как не расслышал вопроса и задумчиво продолжил дальше:

– Я так думаю, что Господь по милосердию Своему все-таки не дает их видеть младенчикам в момент рождения – ибо страшно сие это и ужасно, и еще невыносимо для их разумиков... А с другой стороны – может и видят что... Ведь недаром же все плачут так ужасно и жалостливо, пока глазки их внутренние не захлопнутся и не заснут... Да, а потом действовать начинают, когда подрастут слегка.... Фу, черт!.. Опять я сбиваюсь... О чем я?..

– Брат, ты о сне, – тревожно подвинулся к Дмитрию Алеша, видя как того все более и более охватывает полупьяная лихорадочная оживленность.

– Да, о пробуждении – смерти. Видел ли ты, Алешка, как умирают люди? Я видел на каторге и не раз. Один балагур бы, весельчак, хоть всю семью чью-то вырезал, с младенцами кажется... А как помирать стал – бревном придавило... Принесли его, а он тихо сперва лежал, а потом как заверещит... Уберите меня от них – уберите!.. Уберите, братцы!.. – и взвыл как свирелка какая... Тонко так, но уши аж все закладывает. Тут даже убийцы матерые и те из барака выскочили. Кожа дыбом подниматься стала. Эпидерма отваливаться. Так и помер, а глаза от ужаса наружу вылезли. Рожу ему и ту едва прикрыли – подойти не могли со страху того... Да, увидел что, когда проснулся... А другой... Фу, черт – хватит... «Собор непроходимых мук...» И ведь все же просыпаются, Алешка, не думай, что не убийцы и не насильники умирают спокойно. Никто так не умирает – все просыпаются и все ужасаются... Ибо видят мир такой, какой он есть, а не такой... Какой им представлялся во сне этом, в реализме этом сонном...

– А проснуться раньше смерти нельзя? – снова отрывисто спросил Алеша.

– Брат, брат... – через всхлипывание произнес Дмитрий и вдруг залился слезами. Они лились у него потоками через широко открытые глаза прямо на бороду и оттуда капали на воротник расстегнутой рубашки и жилетку. Он пытался их утирать, но с каждым утиранием руки – они, казалось, лились с еще большей силой. Митя только всхлипывал раз за разом и выдыхал с глубоким придыханием, напоминающим стон. У Алеши на глазах тоже выступили слезы, но он сидел, не шевелясь, молча переживая трагедию старшего брата. Тот, наконец, смог продолжить:

– А-Алешка, братишка... Ты о-опять в точку.. В точку самую – в обушек и неупустительно... Я же ка-ак раз и проснулся... Да, братец ты мой, про-о-оснул раньше времени... До смерти – но сла-а-ва Богу за все!.. – Митя, казалось, немного успокоился и даже словно протрезвел от слез своих. – Знаешь, когда это было – это прои-зошло в ночь предопределения, inferнальную ночь эту, самую страшную ночь в жизни моей... Я тогда от Ивана с Катькой сбежал – знаешь ли ты это? – когда они меня с каторги украсть хотели. И ведь украли уже – только сбежал я... Ха-ха, – и Митя после слез своих уже колыхнулся двумя толчками смеха, –

только как кур во щи попал – к Христофорычу моему... Пора тебя с ним познакомить. – И он тяжело-тяжело вздохнул, словно готовясь к чему-то тяжелому, но неизбежному. – Евгений Христофорыч Бокий, жандармский полковник, смотритель Омской тюрьмы... Я от него сбежал, точнее, Катька с Иваном меня сбежали, а я потом и вернулся... И ты, знаешь, Алешка, это..., это..., как тебе сказать... Я и человеком его назвать не могу – это только образ человека, вид человека – ночью это понял – сверхчеловека что-то... Из него ужас исходит – я даже сам не понял, что со мной... Как это случилось – потом только понял это, что по-другому и нельзя было, потому что не с человеком имел я дело тогда... Потом понял, Алешка... А когда подписывал – тогда не понимал, тогда просто страх и ужас... Ужас inferнальный, да, как из преисподней – и подписал, а ночью только и понял, что подписал... Когда проснулся...

– Что подписал?

– Так, мол, и так – обязуюсь сотрудничать с охранкой... – Митя даже закрыл глаза, когда сказал это и, кажется, совсем не заметил, что Алеша слегка отшатнулся от него верхней половиной тела. – Ты знаешь, он мне – мол, это надо, чтобы меня выпустили, чтобы мог догнать Катьку и Ивана – он и их уже знал... А когда повели меня в камеру, я как-то шел, даже вроде и спокойный – веришь ли? И даже заснул в камере той... А потом проснулся. Проснулся не просто так – понимаешь? А сердцем проснулся... Как перед смертью... Может, это смерть и была – а, Алешка?.. Может, правда, это смерть и была?.. – Митя высосал остатки коньяка и окончательно уже выбросил бутылку в кусты. Она, попав на что-то твердое, камень, видимо, – разбилась. И звук этот остро пронизал все пространство беседки, заставив Митю взглянуть в ту сторону и перекошиться лицом. – Да, я проснулся, Алешка. И это была самая страшная ночь в моей жизни. Представь, темнота кругом, – я не сразу вспомнил, где я, и эти звуки... Inferнальнейшие!.. Звуки преисподней...

И бездна нам обнажена

С своими страхами и мглами,

И нет преград меж ней и нами –

Вот отчего нам ночь страшна!

Знаешь, там специально, видимо, камера такая, чтобы слышно все было – или это оттого, что я проснулся со смертью... Били кого-то за стенкой – а как будто передо мной. Не видно ничего, но слышно... Слышно так, что отдышку у старого жандарма – тяжело ему бить-то – слышу, как легкие хрипят... А он молотил, хрипит тяжело, но молотит... И этот, кого бьют – я никогда его не видел, Алешка, но он до сих пор во мне... Знаешь, так – как... «Ой, не надо!.. Ой, батюшки, мати-светы!.. Ой, не надо!.. Ой, батюшки, мати-светы!..» А потом уже, когда добивали: «Ой, батюшки, мати-светы!..» И все тише так, тише... И отдышка хрипит легкими... И эти «батюшки, мати-светы» так и остались во мне – я их почти каждую ночь слышу... А иногда и наяву... Ха-ха, Алешка, я теперь же всегда наяву. Я же проснулся тогда – именно тогда сердцем... Черт!.. И увидел, нет не увидел – почувствовал – я это и сейчас чувствую... Что это не люди бьют, не жандармы эти – я потом этого старика-бийцу видел пару раз – добрейший мужичок!.. Не поверишь?.. Не он, понимаешь – не он!.. Он – спит. Он просто спит. А бьет тот, кто в нем – и хрипит, хрипит его легкими, понимаешь?.. Понимаешь, как страшно, Алешка, братец ты мой?.. Я когда увидел все это – почувствовал всем нутром своим... А после того, как я понял, что все спят, и что за них самое страшное делают – а они как во сне, то и – все... Веришь ли – умер как? Может и правда умер – и это не я теперь сижу перед тобой?.. Я теперь ужас этот смертный навсегда в себе ношу... Алешенька, понимаешь, – это же невозможно!.. Невозможно проснуться среди всех спящих... Умереть и остаться живым? Или наоборот –

ожить среди всех мертвых?.. Monde a` l, envers⁴. Понимаешь ли ты, Алешка, всю ахинею, что я тебе говорю сейчас?..

– Тяжело, брат...

– Тяжело... Ох, как мне тяжело, Алешка. Я, знаешь, после этого другой стал... Точнее, не сразу, но стал... Бокий мой – это Христофорыч – меня воспитал, другим человеком сделал. Знаешь, у него философия какая – из любого человека скота сделать. Он мне так и говорил, что нет больше в жизни удовольствия. «Неупустительно!..» Неупустительно – «к скотам бессмысленным приложиться» – это человека-то. А пуще дворянина. Это у кого благородства и лоска побольше, кто кочевряжится подольше и человека из себя строит и корчит. Корчит, правда, больше... Но «скот есть и к скотам приложиться»... Он мне много чего рассказывал. Как других скотами делал... Одного судью бывшего даже испражнения свои кушать заставил – да!.. Алешенька! И ведь жрал же – верю ему!.. Методу даже целую разработал – как из человека скота сделать. «Ты мне, говорит, Митенька, сразу понравился – интересная популяция». Так выразился. «Популяция вывернутых романтиков». Так он, значит, меня охарактеризовывал... Вывернутых – это потому что у нас романтизм не внутри, а снаружи, так сказать, для внешнего пользования, тогда как внутри мы простые скоты... Любит он таких – любит... Говорит: это непередаваемо – когда романтизмом их этим же да в нос тыкнуть, нас то есть... Вывернуть и тыкнуть... И посмотреть, что под ним... Как скотство-то сразу и полезет... Говорит – с нами надо сразу за рог. У нас, говорит, один только рог скотский наружу торчит, а не два – вот за этот рог нас сразу и хватать нужно. Сразу так – бум! – кувалдой и отбить... Это когда меня он в первый же день бумагу подписать заставил. Отбил рог-то мой романтический... А потом он со мной долго играл – как «кошара с мышарою» – тоже его выраженье. Полюбил он меня, говорит... Ты, говорит, из искренних. То есть из тех, кто сами хоть и в дерьме, но думают, что к свету стремятся – и верят в это. Это – главное. Таким, говорит, задача – просто показать, как дерьмище-то их, наше то есть, и есть нутро наше настоящее... Не буду, Алешка, тебе всего рассказывать... Что мы и как он беседовал со мною... И что проделывал... Раз взял – и поместил в камеру к уголовникам... В качестве последнего «баша». Это, знаешь, когда кто-то все проигрался и последнюю ставку делает. На меня то есть... Но – не буду... Нет – не могу!.. Одно должен тебе все-таки рассказать – с Грушенькой связанное... Ибо не поймешь ты ее тогда, обиду затаить можешь... А невиновата она... Понимаешь, она тогда уже третий год в Омске жила – приходила часто, меня проводывала, да и торговлишку водочкой наладила. И среди каторжных тоже. И ведь как умно – в чем только водку не проносили, даже в кишках бычьих... Все она изобретает способы... Знаешь же – у нее нюх на такие дела – недаром с папаней нашим делишки имела, да и с Самсоновым... Так. О чем я?.. Да о Грушеньке... Он мне, Христофорыч, потом скажет: что давно уже глаз на нее положил, да только искал, как связать-то нас вместе – чтобы, значит, в скоты обоих... Это у него тоже раздел в методе есть. Не просто человека скотом сделать, а чтобы это произошло на глазах у другого. Чтобы и у того, значит, веру в людей разрушить – глаза, так сказать ему открыть, проснулся чтобы тоже... Видишь, Алешка, – и этот-то понимал кое-что во снах и людей проснуть старался... По-своему... Так вот. Знал он – знал он страсти мои. А одна особенно в тюрьме каторжной разыгралась. Карты разумею, «картишонки», как «бурые» говаривали... Это сорт такой каторжников. Вот и разыгрался я до всего... Да так, что, когда уже и ставить было нечего, говорит: как, мол, нечего? А Грушенька-то твоя? Чем не ставка? Давай – отыграешься... Ох, не отыгрался я тогда... Алешенька, прости меня – страшно рассказывать далее. Потом в свиданной-то комнате... Насиловали ее у меня на глазах. Двое надзирателей держали, а третий насиловал. Менялись потом... А я, значит, с другой стороны – за сеткой. Вместе с Христофорычем. Один на один. Грушенька кричит-то, а он смеется... И в этом, понимаешь – все наслаждение его inferнальное... Ведь

⁴ Мир наоборот (фр.).

мог же я на него накинуться, раз до тех жандармов достать не мог. Мог же – но не стал. На то и расчет был. Это чтобы романтизмом моим, то есть скотством моим и подлостью и трусостью мне же в рожу тыкнуть... И на глазах же Грушеньки. Мол: смотри, женишок твой, ради которого ты в Сибирь-то приехала – вот он, какой герой... Подлец из подлецов, скот из скотов. Ведь может же впитаться мне в горло – но не впился. И не вопьется никогда, потому что «популяция» такая... Только просчитался он один раз. Один раз, но просчитался... – Митя как-то подобрался даже, а глаза его засверкали, озаренные странным внутренним пламенем. – Это же все произошло, когда уже кассация мне вышла. Эх, Алешка, я когда узнал-то про кассацию, чуть с ума не сошел!.. Думал, вот теперь все по-новой, да и с Грушей!.. Да, забыл на время, что уже поздно, ведь проснулся уже. Думал, что можно все по новой – крылья снова проросли... Эх, черт, напрасно думал. Христофорыч же тоже все понимал, что дется со мною – специально все устроил, чтоб как раз к моему выпуску. Еще одно доказательство скотства. Полакомствоваться ему напоследок: показать перед Грушей, какой я скот окончательнейший. Неужто не отомщу ему за Грушу? Если вопьюсь ему в горло – али еще какое бесчиние устрою – то ведь загремлю снова кандалчиками. И – прощай, свобода, прощай, Грушенька!.. На то и расчет был. На подлость мою беспримерную... И провожать даже вышел навстречу Грушеньке – это чтобы, размазать, значит, окончательно. А она обязана была меня встретить – подписку такую дала. И я, это, значит, подписал все бумаги, выхожу в караульную с ним – и Груша... Увидел я ее – и все понял. Знаешь, Алешка, у меня уже тогда, как ясновидение какое открылось... Верить ли? Только взглянул на нее – и все понял: теряю я ее навсегда. Последний раз вижу. Как оборвалось, что во мне. И я вдруг решил действовать. Нельзя же во снах действовать – только еще хуже будет... Это ты запомни, Алешка, друг и братишка мой милый, – только хуже будет... Но я в тот миг ни о чем не думал – знал только, что если не сделаю чего, что Грушу навек потеряю. Может, заснул, правда, на этот миг?.. Взглянул на нее – понял все, и снова к Бокому – Христофорычу моему, фамилия у него такая, говорил ли я тебе? А он глядит – улыбается. *Неупустительно* употребил, значит...

Митя замолк и как-то тревожно и в то же время вдохновенно посмотрел на Алешу. Тот замер, боясь проронить хотя бы слово.

– До сих пор думаю, что это было? И как бы дальше судьба моя повернулась, не сделай этого...

– Ну? – наконец выдохнул Алеша.

– Впился я ему в шею. Понимаешь, впился – это мне потом Груша рассказывала, а я, знаешь, не помню, как отрезало совсем. Вырезало из памяти – стерло напрочь. Помню только: повернулся, шагнул к нему – и больше ничего не помню. Заснул... Очнулся – уже бьют меня, и крик Груши в ушах стоит... А Христофорыч-то так шею на бок и повернул с тех пор. То ли я свихнул ему – то ли прокусил даже... По-разному говорили. Мне за десять лет потом много чего говорили. Вот так – носил Христа, носил на шее своей, пока Он ему эту шею и не свернул. Ха-ха... Это мне Груша потом сказала. Она ко мне снова приходит стала, когда я вернулся на свою каторжку... Только и без Христофорыча нашлись другие продолжатели. Там одни продолжатели водятся – ибо другие не смогут. Справились со мною...

– Справились?

– Всего не расскажешь, Алешка, да и незачем это. Зачем тебе спускаться в подвалы inferнальной подлости – только посеешь раньше. Выжил я только потому, что притворился спящим. Спящим, как все. Только так, хоть сердце-то по-прежнему рвалось. Я уже не мог ничего... Ничего отказать не мог... «Просящему дай...» Вот я и давал. Ха-ха!.. Слышишь? Слышишь оправдания подлца?.. Подлца и труса!.. Кто бы мог подумать!.. Ведь надо как-то было жить. Жить с этим ужасом в душе и с проснувшимся сердцем... Черт!.. Невозможно, казалось бы. Но – *подлец был и подлец остался*... Знаешь что это?.. Это кто-то надпись приписал на могильной плите батюшки нашего... Писал про него, а оказалось, что и про меня...

Да и я, когда Смердякова гонобил и заставлял его доносить все себе – оказалось не его, а себя прогибал!.. Себя гонобил – готовил себе судьбу подлую и подлеишую... У того хоть совести хватило повеситься...

– Дмитрий, зачем ты...

Но Митя тут же перебил Алешу:

– Нет, будь добр – уж дослушай... Я же как рассудил. Все спят и живут. И все подлости и злости свои во сне делают. Именно потому, что спят – проснулись бы – не делали. Проснулись бы – ужаснулись бы, когда увидели, кто ихними руками все это делал... Но – спят... Тогда что ж мне – одному-то среди всех – жить с честью и совестью?.. Сон же – спят же все... Мы же что можем творить во сне – все, что угодно, а потом просыпаемся и только диву даемся. Но это же мы тоже, хоть и во сне... И детей насиловать во сне можем – и ничего. Проснулись – и забыли... Это – ты следи за мыслью подлеца!.. Карамазовская живучесть – это еще братец Иван говаривал... В точку. Вот и решил я, что буду жить. Один проснувшийся или умерший – но буду жить... И делать, что требуют. Раз я во снах их участвую... И делал же – «просящему у тебя дай...» Видишь – и Евангелие припел в оправдание. И давал... Потом, когда уже на десять лет отправился за Христофорыча своего... Меня как подсадную утку использовали... К революционерам, заговорщикам, социалистам, сочувствующим иже – да и подозреваемым просто для проверки. Да и к угалашкам, уголовникам то бишь – порой... И в камеры подсаживали, да и на волю выпускали – по-разному было. А я все послушаю – и донесу, как следует... Все распишу – что слышал, видел, и более даже распишу... Веришь ли, Алешка, может, потому что я из проснувшихся – так я и больше того видел и слышал. И что не видел – как будто видел, и что не слышал – как будто слышал... Ясновидение какое-то порой и тут открывалось. Мне один из последователей Христофорыча говорил, что я целого следственного отдела один стою, смеялся, что надо меня в штат зачислить и жалование повышенное платить... И пора-жало же меня – как никто из тех, к кому меня подсаживали, не догадывается, кто я. Но там умельцы жандармские, конечно, знали, что делали – заматали следы, путали карты, не сразу накрывали заговорщиков, так что и подозревать меня трудно было. Но дело не в этом, Алешка. Чувствовал я, что меня словно некая сила бережет, бережет и от раскрытия спасает. А зна-ешь, почему?.. – Митя внезапно перешел на шепот и даже потянулся к Алеше, словно бы их кто-то мог подслушать. – Алешка, ты мотай тоже... Только потому, что я в снах этих сам не действовал. Они действовали – а я нет. Я только «просящим» давал, что они хотели. И ведь мог же сказать, кто я – мог, тогда бы и не стали секретов мне выдавать революционных – а их как тянуло ко мне какой-то inferнальной силой – тоже необъяснимо, Алешка – сны!.. Сны эти!.. Они по своим законам проходят... О, черт!.. Сколько раз я хотел сказать им: «Неужели же вы не видите, кто я? Молчите!.. Не лезьте ко мне...» Сколько раз просил их – мысленно, мысленно, Алешка: «Ну, спросите меня хоть раз – я не провокатор?». Спросите, хоть раз! Хоть разочек!.. Ну, что же вы такие доверчивые!.. Я бы сказал, Алешка, я бы сразу сказал!.. «Просящему дай!» И я бы дал – дал всю правду о себе!.. Спросите только... Но ни разу не спросили – inferнальная сонная слепота... «И загражу уста им...», «слухом услышите, и не уразумеете; и глазами смотреть будете и не увидите...», потому что, правда, «огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем»... А главное – что «не обратятся»... Не обратятся, Алешка, ибо спят – вот в чем ужас-то!.. Ты знаешь, я только один раз и решился действовать. Нет, даже не дей-ствовать, а так как бы – помочь действию. Эксперимент, так сказать, поставить во сне. Меня же мотали по всей Сибири, чай... Был и в Томске, и в Тюмени, и в Иркутске... И только в одном месте заподозрили меня, начальник полиции поторопился – накрыл сразу нечаевцев каких-то новых, а те, кто там из них остался, мне и вынесли смертный приговор. Вот, думаю, настоящий сонный кошмар – чем закончится?.. А привести его в исполнение должен был один врач, к которому меня отвезли – тут игра с двух сторон была, сонная, так сказать, фантазмагория...

Те живца подсовывают, а те его сдирают с крючка... И вот я у врача этого на приеме в кабинете – и вижу же, вижу, не только что он меня убить должен, но и даже, как. Скальпелем или ланцетиком должен он, это, полоснуть меня по горлышку – по сонной артерии... Заметь – опять по сонной... Это чтобы проснуться. А я ведь уже и так не сплю... Мне даже странно, зачем такая экзотика кровавая. Ну, сделал бы мне пилюльку вкусенькую, проглотил бы я ее – и дело с концом. А тут – скальпелек. Но потом понял – для устрашения, так сказать. Чтобы не повадно другим было – примером я должен был послужить для других предателей. Алешка, ты слушаешь?

Алеша не смог даже ответить – так он был поглощен рассказом. Он, казалось, был в каком-то ступоре, даже и не дышал. Митя несколько секунд всматривался в него.

– Не рассказывать – ибо довольно с подлеца?..

– Нет, продолжи, пожалуйста... – Алеша хрипло прошептал, с трудом выдавливая из себя слова.

– Ну ладно, закончу скоро... Так вот же... Где я, черт!.. А – ну, вот, сижу я – а вижу, что он, врач этот, весь в волнении – борьба, понимаешь, в нем идет жуткая – как убивать будет?.. Он уже и так ко мне подойдет – и этак, а сам все спрашивает о чуши какой-то, чтобы время-то потянуть... Эх, тям не хватает – интеллигенция... Да, к Христофорычу бы его – тот быстро ему этот рог интеллигентский-то обломал бы... Наконец просит: мол, откройте рот, я вам язык посмотрю и пульс послушаю, а руку со скальпелем чуть за спиной держит – ну, думаю, вот момент!.. Сейчас – или никогда. И веришь ли, Алешка, такое любопытство меня разобрало, что и страха совсем не чувствовал – как со стороны смотрю – зарежет – не зарежет... Ты «Лаокоон» видел?..

– Какой «Лаокоон»? – вновь не сразу ответил Алеша, даже вздрогнув от неожиданного вопроса и, похоже, не до конца понимая его значения.

– Это где-то в Лувре, кажется, иль еще где – видел я репродукцию... Из античного это. Статуя это, точнее не статуя – а черт знает что... Это невозможно передать. Там змея оплетает троих – это Афина, кажется, наслала змею на отца и двух его детей, чтобы они тайну не выдали Трои, про коня этого троянского... Лаокоон – это жрец Троянский, тайну эту знающий. И я почему-то в этот момент, в момент зарезания моего, когда секунда, может, и оставалась – и полоснет врачик этот по горлышку – этот «Лаокоон» и вспомнил. Х-ха!.. Там же между и жизнью и смертью последний момент запечатлен в камне этом чертовом... Бывает, Алешка, тут жизнь на волоске – а в голову лезет... Сам что-ли Лаокоон?.. Ибо тайну знаю и вишу на волоске... А волосиков-то – прядочка одна липкая, потная и выползла из-под белой шапочки врачака этого и на глаз, на глаз ему – а у него и руки заняты... Одной мне на горлышко, а в другом скальпелечек-то держит... И так мне эта прядочка в глаз бросилась – до сих пор помню – потненькая, сальненькая...

Алеша сделал какое-то нервное нетерпеливое движение.

– И отступил он, Алешка, не смог... Э-эх... Веришь ли – меня даже злость взяла, разочарование какое-то невозможное. Точно самого главного и не произошло – к чему я стремился так... Лаокоон-то до конца дошел, а я – нет. И все из-за этого врачака интеллигентного... Прядочки одной ему и не хватило... Воззлился я тогда на него. И из этой злости и решил действовать... Знаешь, Алешка, сколько из-за меня людей сгинуло – и счесть нельзя, но ничто не чувствую на совести моей – ибо во сне все было. Я и не делал ничего – только давал, что просили... «Просящему дай...» А вот это одно – одно только до сих пор покоя и не дает!.. Черт! Черт!.. Как совесть понять свою?.. Кто объяснит мне самого себя?.. А – Алешка?..

– Так что сделал ты? – хрипло спросил Алеша.

– В том то и дело, что ничего особенного, Алешка! Ничего особенного!.. Но ведь значит – не должен был и этого делать!.. Не должен был!.. Сколько я себя спрашивал и корил!.. Так уж вышло...

– Да что же!? – прямо вскрикнул Алеша, дернувшись, и Митя, кажется, впервые заметил его страшное волнение. Теперь уже Митя, похоже, стал переживать за брата, ибо вновь спустился с перилы и сел рядом.

– Сейчас расскажу, братец ты мой... Не волнуйся ты так, Алешка... Я просто сказал ему – что знаю все. Знаю, мол, что он убить меня должен и хочет, но не решается... Даже предложил ему – попробуй еще раз, не отступай... Но тот – в слезы уже. Не выдержало сердечко... Зарыдал сердечный... Может, тоже едва не проснулся... И я за ним следом – так и прорыдали вместе с час поди... Вот и вся история, Алешенька.

– А потом?..

– Что потом?..

– Потом ты... что с ним?..

Митя вздохнул.

– Да сдал я его, как и всех других. Спросили же – за тем и посылали. Все рассказал, что знал и что сверхзнал... Взяли его тут же – там начальник был такой горяченький... Не стал ждать с врачом этим. Нетерпелся... Трое деток у него было. Это у врача этого... Потому, видать, и не смог зарезать. Детки, они даже и во сне держат. А жена, говорили, с ума сошла после...

В беседке воцарилось тягостное и тяжелое молчание. Издалека за легким шумом вечерней листвы был слышен лай далекой собаки, а еще дальше и глуше чье-то прерывистое надрывное мычание.

– А меня ты тоже сдашь? – неожиданно брякнул Алеша.

Митя снова вздохнул.

– Я, Алешка, всегда спрашивал себя – вот если все так по-честному..., все по-честному на незримых, но справедливейших весах взять и положить – и взвесить: так чего больше – добра или зла за моим сонным бездействием скрывается... Где больше крови пролито или не пролито – чтобы и вся пролитая и непролитая кровь была взвешена, ибо она и есть самая тяжелая... Понял ты меня, Алешка? И так – чего же больше?.. Черт, где же больше – на какой чаше весов?.. И знаешь, братец ты мой, нет у меня ответа. Нет, и главное – понял я – и не должно быть. Ибо иной суд человеческий, а ино Божий... И весы эти только у Него и сохраняются и приберегаются на день последнего и страшного суда – там и будет все взвешено. Только там... Я как-то сдал бомбистов, готовивших покушение на цесаревича – наследника царя нашего... Ведь что удумали – всех положить заодно, вместе со слугами и детками даже маленькими, если таковые в каретах окажутся... При мне ведь говорили – верили мне... И я им верил – не остановятся, ни перед чем не остановятся... Ибо действуют. Во сне своем действуют, что и есть страшное самое, Алешка... Не осуждаю, ибо понимаю... Повесили их – троих, кажется... Мне потом сами вешатели и рассказывали – хвалились... А еще нескольких – солдат, исполнителей-то будущих, палками забили. Но, вот, думаю... Если бы не повесили – где крови-то больше было бы. И понял я, Алешка, что лучше...

– *Рара*, вас *татап* неупустительно к себе приглашает, – это словно ниоткуда выросшая у беседки Лизка вдруг перебила речь Мити, да так что и Митя и Алеша вздрогнули от неожиданности. Она действительно явилась словно ниоткуда, как будто выросла из-под земли, хотя, скорее всего, братья, увлеченные разговором, просто не заметили ее. Митя, как пораженный этим явлением, лишь прошептал почти про себя: «Неупустительно...»

– Да, иду я, иду – как ужаленный подскочил Алеша (он тоже был поражен этим «рара» – никогда прежде Лизка его так не называла), но поспешно пройдя пару шагов, обернулся.

– Не жди меня, Алешка, – махнул ему рукой Митя. – Я к Паисию... Прости меня...

V

скандал

Еще подходя к дому, Алеша услышал там громкий голос Марфы Игнатьевны, который стал хорошо слышен в небольшой чистенькой прихожей. Надо сказать, что старый карамазовский дом стараниями Lise и при непосредственном участии Марфы Игнатьевны был значительно омоложен. Все обои были переклеены и заменены на светло желтые и зеленоватые, а зеркала, которые так любил покойный Федор Павлович, вынесены в чулан. Из своей спальни Lise вообще выбросила все, обставив ее новой мебелью. То же хотела сделать и с кабинетом Алеши (комнатка, где был убит Федор Павлович), но Алеше удалось убедить ее выбросить только ширмы и кровать, а массивный письменный стол и шкаф оставить на месте.

– Нет, ты посмотри, шельма какая!.. В слабости она была!.. Я ей скажу, в какой слабости она была... Ишь – бросила нам ребенка, в слабости она... Ноги поотрывать за такую слабость бы ей. Лизке-то, чай, и трех дней не было... Ишь!?!.. А теперь обратно ей подай... И как наглости только хватает!..

В гостиной, куда вошел Алеша, стояла и оживленно размахивала руками Марфа Игнатьевна, обращаясь к невидимой Lise. Та находилась в комнатке Лизки, рядом с открытой внутрь комнаты дверью. Несмотря на то, что Марфе Игнатьевне было уже под шестьдесят – она мало изменилась и держалась бодро. Собственно, почти весь быт и уход за таким большим домом был на ней – и она справлялась, в ней после смерти Григория словно проснулась дремавшая прежде сила, как словно она распрямилась от невидимого, но несомненно тяжелого гнета умершего мужа.

– Ах, Алексей Федорович, ну где же ты?.. – это Lise, выглянув из спальни и увидев Алешу, быстро пошла ему навстречу.

А вот в ней уже трудно было бы узнать маленькую смешливую девочку, того «чертенка», кем она представлялась окружающим тринадцать лет назад. Она, хоть и по-прежнему была не слишком высока, но на вид изменилось до почти полной неузнаваемости. Исчезли все угловатости подростка, и ее лик приобрел черты почти законченной красоты и совершенства совсем еще молодой, не достигшей и тридцати лет, женщины. Эту красоту портило только выражение какой-то «всегдашней» тревожности и ожидания, что в сочетании с беспокойными, постоянно перебегающими с места на место глазами, оставляли общее впечатление суеты и непокоя.

– Алеша, представь, эта... Мария Кондратьевна, бывшая... В общем, смотри что написала, – и она передала Алеше клочок бумаги, на котором бегло было нацарапано следующее (оставляем всю оригинальную орфографию):

«Одайте мне мою Лизку обратно. Вы отабрали ее у меня когда я была в слабости. Одайте теперь подабру».

Оказывается, пока Алеша беседовал с Митей, здесь развернулись целая операция. Мария Кондратьевна, прибыв к дому в коляске вместе со своей, уже знакомой нам, взбесившей отца Ферапонта компаньонкой, сама вошла в сад и, увидев Лизку, поспешила к ней и стала заласкивать. Мол: это я – твоя мамочка, приехала за тобой и т.д. и т.п. Но вышедшая из дома Марфа Игнатьевна, завидев такое «безобразие», решительно пошла на приступ и отбила ребенка. И тут же послала Лизку за Алешей. Однако засевшая в коляске Мария Кондратьевна сразу же прислала свою компаньонку с пресловутой запиской. Алеша вошел в дом, когда та уже успела ретироваться, а содержание записки стало известно Lise и Марфе Игнатьевне.

– Алексей... Алеша, что же это? Как можно так?.. Что делать – я не знаю... – Lise говорила тревожно, беспокойно вглядываясь в лицо Алеши и тут же убегая глазами по сторонам.

– Да что – госпожа Лизавета Красивешна, надо в полицию заявить. Ишь – распоясалась-то так!.. И главное – держит-то Лизку мертвой хваткой... А та, клуша, только глазами хлопает. Как же, как же – маманя пропащая заявила... Надо объяснить ей, что никакая это ни маманя... Тетка с улицы... А нет – так и правду сказать, что это у тебя такая маманя была, что бросила тебя как куклу... Как щенка полудохлого... Да – мол, забирайте отродье свое Смердяковское... – затараторила Марфа Игнатьевна, не замечая, что у нее за спиной в ком-

нату вошла Лизка, исподлюбя, но внимательно наблюдая и прислушиваясь ко всей сцене. И не успел Алеша остановить Марфу Игнатьевну, как следом в комнату вошла и главная виновница всего скандала – Мария Кондратьевна. Вошла, видимо, решив еще раз «попытать судьбу» и рассчитывая каким-то образом все-таки чего-то добиться. Она была в ярко-зеленом, на этот раз не шуршащем, а каком-то «струящемся» шелковом платье, призванном, видимо, по мысли хозяйки, очаровывать своей роскошью всех его видевших. Пришпиленный же сзади хвост был неизменно.

Только заметив вошедшую, Марфа Игнатьевна, бросилась к Лизке и загородила ее собой. И тут же на ходу грозно проговорила:

– Ты чего пришла снова?

Но та, не обращая внимания на защитницу, только увидев Лизку, вдруг прямо на пороге присела на колени и подняла перед лицом огромного оранжево-желтого сахарного петушка.

– Лизка, детонька моя, смотри – мама что тебе принесла... Подарочек сладенький – петушок сахарный... Иди ко мне доченька, иди ко мне крошечка... – слащаво-чувственным и выделанным голосом запричитала она, как-то нелепо помахивая петушком перед своим носом, словно заволакивая и заманивая Лизку к себе. Все это выглядело так странно и нелепо, что первое время никто не вымолвил ни слова. Мария Кондратьевна явно просчиталась с подарком для ребенка – он годился ну разве что для девочки трех-пяти лет, никак не больше. Да и сюсюкающий тон, с которым она обращалась к Лизке, тоже подходил именно к этому возрасту. У Марфы Игнатьевны еще только расширились глаза и надувалась грудь – что было признаком нарастающего негодования, но все ее действия предупредила Лизка. Ловко вывернув из-за спины Марфы Игнатьевны, она быстрым шагом подошла к стоящей на коленях матери и тоже опустилась перед ней на колени. При этом руку матери, с блистающим огненным цветом петушком, она обхватила двумя ладонями и прижала к своей груди. Надо было видеть ее лицо!.. Это была какая-то непередаваемая смесь благоговения и лукавства. Ее рот даже приоткрылся от избытка чувств, конопушки под глазками затопорщились в складочках кожи, и только сквозь полуприкрытые веки светился тот же все замечающий и все оценивающий лукавый смердяковский взгляд...

Марфа Игнатьевна, наконец, пришла в себя:

– Пошла вон, шельма зеленая!..

Она бросилась к Лизке и, схватив ее за плечи, потянула к себе. Но не тут-то было. Лизка не отпускала руки матери с петушком. Мария Кондратьевна заверещала невероятно высоким голосом, но тоже не отпускала ребенка. Они так и перетягивали друг друга, и петушок между ними приближался то к одной, то к другой стороне. Марфа Игнатьевна, уразумев недостаточность своих усилий, и продолжая одной рукой тянуть Лизку, другой дотянулась до головы Марии Кондратьевны и, захватив под шляпой ладонью пук ее волос, стала тягать их из стороны в сторону. Та заверещала еще громче, переходя уже на безостановочный визг. Алеша, наконец, вышел из ступора и бросился разнимать дерущихся, но в этот момент раздался треск и хруст – это петушок, не выдержав потрясений, переломился у самого основания, и Лизка с его верхней частью едва не упала на бок. Но это не остановило дерущихся: освободившиеся руки, как у Марии Кондратьевны, так и Марфы Игнатьевны, тут же пошли в ход, и Алеша едва смог оторвать их друг от друга.

Впрочем, закончилось все так же нелепо, как и началось. Две женщины еще выдыхали проклятия и ругательства, как их крики перекрыл нарастающий смех. Это смеялась привалившаяся к бельевому шкафу Лизка. Она так и прижимала полураскroшившегося петушка к груди, при этом мелко и как-то протяжно, словно на одной ноте, выдыхала частыми толчками: ха-ха-ха-ха!.. И как бы под влиянием этих толчков она все больше сползала на пол, и уже на полу начала как-то странно дергаться нижней половиной тела. Марию Кондратьевну, наконец, удалось выгнать вон – чему та, завидев странное поведение своей дочки, не особо и сопро-

тивлялась – а Лизку Алеша отнес и уложил в кровать. У нее, похоже, была истерика в каком-то полубоморочном состоянии, впрочем, быстро завершившаяся – так, что даже решили не беспокоить врачей. Она действительно вскоре заснула – с ней осталась Марфа Игнатьевна, а Алеше уже пришлось успокаивать Lise, едва самой не упавшей в обморок при виде всего произошедшего.

Окончательно убедившись в безопасности Лизки и оставив ее под присмотром Марфы Игнатьевны, Lise и Алеша поднялись в спальню к Lise, полстены которой занимали книги, учебники и разного рода папки с вырезками и методичками. Тут был, похоже, целый методический библиотечный архив. Lise, когда они уезжали вместе с Алешей в губернскую столицу, чуть ли не в первом выпуске закончила недавно открывшиеся там «педагогические курсы» и получила звание «кандидатки», дававшей право преподавания в церковно-приходских и земских школах. И теперь ревностно исполняла обязанности «учительницы» в паре таких наших школ. Были у нее и частные ученики, большею частью бесплатные, и они по времени приходили на учебу прямо в карамазовский дом.

Алеша сидел на кровати Lise, а та в креслице перед белым туалетным трюмо, контрастно выделявшимся на фоне темно-серых и коричневых книжных рядов, стопок серых раскладок и папок, что отражались за спиной Lise в этом самом трюмо.

– Алексей, знаешь, у меня – я это почувствовала – как будто ноги стали снова отниматься, когда это все... началось. Что думаешь по всему этому ужасу? Это же ужас! Ужас!?! – и она повернула к Алеше свое прекрасное, но опять же искаженное страхом и тревогой лицо.

– Lise (Алеша всегда, еще с детства и неизменно называл так Лизу), не волнуйся... Лизу нашу мы никому не отдадим – она будет с нами. Она будет с тобой...

– Помнишь, как мы еще тогда – еще в доме у мама, обещали друг другу, что будем ходить за людьми, как за больными – помнишь?.. Что, как говорил твой Зосима – ты кстати, не рассказал, как открыли его мощи... – будем за человечеством всем смотреть... Как врачи какие – всем служить, всех переносить и любить... Ты помнишь?.. Помнишь ведь, помнишь?

– Я помню...

– Вот, Алеша, вот!.. – Lise вновь вся изошлась волнением, она даже плечиками приподняла легкое и изящное летнее платье из тонкой светло-голубой материи, собранной к шее небольшими воланчиками. – Тут главное. Тут главное... Я сейчас думаю – о, я очень сейчас думаю, Алеша... Я же вижу, как ты скрываешь что-то от меня... А ведь помнишь – мы все клялись рассказывать друг другу, все-все... Разве ты не помнишь?..

– Я помню, – вновь повторил Алеша и опустил глаза. – Lise, я когда-нибудь все тебе расскажу... Правда, все.

Но Lise как будто не услышала его.

– Я боюсь, боюсь, Алеша... Не переоценили ли мы свои силы – а?.. Что ты думаешь – ты думаешь?.. За всеми людьми... Господи, как же за всеми людьми? Я ведь и за Лизкой-то не могу...

– Не называй ее Лизкой, она – Лиза... – попробовал поправить ее Алеша, но та опять как не услышала его.

– Я и правда боюсь ее. В ней есть что-то, что не преодолеть... Никогда, понимаешь – никогда!.. Я это знаю, я это чувствую... И!.. Алеша!.. И она это чувствует – вот что страшно... Я вижу, что она это чувствует... – Lise всхлипнула. – Я не могу смотреть в ее глаза. Там – такое... Там – такое... Там, мне кажется... Ах, Алеша...

Алеша протянулся с кровати и стал гладить Lise по плечу и руке.

– Я же вижу, как она смотрит на все... Как она смотрит на все книги эти – и презирает... Да, Алеша, она презирает. Все презирает – и книги эти, и меня, и все, что я делаю и все, чему учу... Она ничего этого не знает – и презирает. Но ведь ей и не надо этого, Алеша. Понимаешь?.. Ей и не надо этого всего – вот в чем ужас!.. И она знает твердо, что не надо. И я...

Алеша, и я знаю, что не надо... Ей, ей... Ей уже ничем не поможешь!.. – И Lise даже закрыла лицо руками, как бы не в силах совладать с пробежавшим по нему ужасом.

Алеша встал с кровати и обнял ее сзади. Lise вся так и вздрогнула в его руках и понизив голос, словно их кто-то мог подслушивать, торопливо зашептала Алеше в ухо:

– Алеша, давай отдадим!.. Давай отдадим ее – а?.. Вот – сейчас самый подходящий случай... Сейчас – или никогда... Или кошмар до конца дней... Она не наша, Алеша, она не наша и никогда не будет нашей. Мы переоценили... Мы переоценили, понимаешь, Алеша, самих себя и свое добро... Нет его у нас, нет и у меня... Отдадим... Или нет – она еще вдруг вернется... Давай убьем ее и в саду закопаем – а? Ведь не найдут же ее там – не найдут?.. Там, в яме у забора... – и она с каким-то безумным ожиданием уставилась на Алешу, отодвинувшись от его плеча. – Ох, Алеша, прости меня – не слушай меня... Прости меня, подлую, не слушай!.. не слушай!.. – и Lise, снова прильнув к Алексею Федоровичу, залилась слезами в его руках.

Алеше понадобилось еще с полчаса, чтобы успокоить ее. Ушел он только, когда подтвердил, что «ничего не слышал», и в свою очередь получил обещание, что она приляжет отдохнуть и сама, добавив что скоро он ей «все расскажет», но сегодня он вернется только очень поздно вечером из-за срочных «неотложных дел».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Книга четвертая

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

I

«МЫСЛИ ДЛЯ СЕБЯ»

Вернувшись от Lise в свой кабинет (напомню: это комната, где был убит Федор Павлович), Алеша подошел к письменному столу и из его верхнего ящика вынул довольно потертую, видимо, от частого употребления тетрадку в кожаной крышке. Какое-то время он стоял словно в задумчивости, но вдруг резко вскинул голову бросил взгляд за окно, где по саду большой бесформенной массой и почти бесшумно промчался неизвестно куда Шьен. Затем сел за стол и развернул обложку...

Здесь мне хочется еще раз напрямую сказать несколько слов читателям. Вы обратили внимание, как бережно и осторожно я обращался до сих пор с нашим главным героем, стараясь практически никогда не комментировать его слова и поступки. Но теперь мы подошли к рубежу, когда заглянуть в его душу стало просто необходимо, ибо дальнейшее повествование невозможно без попыток объяснения перемен, произошедших с Алешей. А поскольку эти перемены прежде всего внутренние, то нам придется вступить на зыбкую почву догадок и предположений, ибо чужая душа, как известно, потемки, и все изменения в ней никогда не могут быть однозначно объяснены и истолкованы. Но уж слишком тугой узел затянулся вокруг Алеши, слишком много трагедий, которые скоро случатся и надолго потрясут наш городок, окажутся связанными именно с ним. Поэтому как бы трудно ни было, как ни теряюсь я в попытках уяснить себе своего главного героя, мы будем это делать, то есть проникать в душу Алеши и пытаться что-то там объяснить и, как я писал и обращался к вам, читатели, надеюсь, вместе с вашей помощью тоже. Ибо дорог мне, очень дорог мне мой Алеша, и я хочу, чтобы он стал столь же дорог и вам. С этим и приступим к дальнейшему.

На первой странице тетради несколько раз обведенная кой-где потекшими чернилами синела надпись: «Мысли для себя». Это были те самые «мысли» отца Зосимы, которые Ракитин успел, по его словам, списать из оригинальной тетради преподобного в ночь, когда он проводил опись его имущества. Сама эта тетрадь, по словам того же Ракитина, «ушла по церковным инстанциям». Алеша потом уже сам несколько раз бережно переписывал доставшиеся ему

«мысли» дорогого человека и даже скомпоновал их по-новому, в более логичной связи, ибо ранее они были отрывисты и часто не связаны друг с другом, так как записывались в разное время с довольно длительными промежутками. А над некоторыми записями были еще сверху и сбоку приписаны уточнения и дополнения. Видно было, что старец сам неединожды перечитывал свои записи и делал добавления к ним. Например, почти везде, где упоминался Алеша, эти места были большей частью приписаны позже. В особые минуты душевных кризисов и переломов Алеша всегда их просматривал или перечитывал. Сейчас, без сомнения, как раз и был такой период.

Мысли для себя

I

* * *

Тяжкое время... Что за тяжкое время?.. Никак не могу даже до конца уяснить себе, что меня побуждает взяться за перо. Записывать свои мысли... Но зачем? Я ведь и так их ношу в душе и кроме меня никто их не прочитает?.. Разве что тяжесть вынести из души наружу... А то ж ведь и молюсь – а тяжесть не проходит... Воистину тяжкое время. И ведь тяжело оттого, что не с кем поделиться этими мыслями. Даже с самыми близкими братьями. И не то, что не поймут, а... А словно боюсь смутить их. Да-да, как бы не послужило соблазном. А то из своей души вынешь – а в другую вложишь... Не дай, Господи!.. Поэтому пусть только бумага... Только бумага. Она, известно, все стерпит...

* * *

Что же это в нашей родной православной Церкви-матушке творится?.. Что ж такое, что нельзя ни с кем поделиться? Странно сие и страшно, ибо признак тяжелой болезни. А если и неизлечимой?.. Не дай, Господи!.. Управь и исцели!.. Ибо только Ты и можешь найти лекарство от сей невидимой болезни. Соль обуявшая... «Ибо если соль потеряет силу, чем сделаешь ее вновь соленою?» Не стали ли мы такой испорченной солью – осталось только выбросить вон?.. Да не будет, Господи!.. Вот и брат Игнатий из своих Бабаев о том же... И тоже пишет о тяжести... В монастырях одно лицедейство и актерство непотребное... В лучшем случае внешность одна – о внутреннем, о молитве, забыли... И деньги, деньги, деньги... Мамона повсеместная... «Нельзя служить Богу и мамоне» А мы служим. И даже неизвестно, кому больше. Монахи, братья, али вы забыли об обете нестяжания!?.. Ох, рыба гниет с головы. Если монастыри загнили, то что же толковать о мирянах... Как не боимся вводить их в соблазн? Какое страшное наказание получим от Бога!.. «Накажу пастырей, которые пожрали овцы своя...» Пастыри, которые пасут самих себя... Ужас – что в Израиле тысячи лет назад – что сейчас на Руси!.. Вернулись на круги своя. И судьба будет та же – развеет Господь Русь, как развеял Израиль промеж народами!.. Вот и преподобный Серафим о том же – накажет Господь нечестивых пастырей, и разбегутся овцы... Страшно и ужасно сие!.. Ужели неизбежно? Господи, Ты веши!..

* * *

Церковь сейчас напоминает как некую обширную пещеру – темную и мрачную, с паутиною по углам и грязью. И только в одном углу едва-едва мерцает лампадка... Свет веры в ней едва светится, а вокруг и повсюду мрак неверия и язычества. Нового уже язычества, страшного тем, что рядится лицемерно в христианские одежды. И крестики носят, и в храмы ходят, и Таинства святые принимают – а все одно язычники. Ибо нет Христа в их душах, не стоит Он там на первом месте. Бог не может находиться в душе, если Он там не на первом месте – это определено так. А у скольких людей, считающих себя христианами, Он не занимает это место? Но ведь ясно же сказал Сам Спаситель: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня...» Вот и святитель Тихон о том же. Что все, кто в гордости и в пышности мира живет – вне Церкви находятся (хотя, мыслю, что внутри храма могут быть, а внутри Церкви нет), хоть и в храмы

ходят, и молятся, и Таин причащаются, и храмы строят... Да – храмы строят, а все равно вне Церкви. Страшно и горько сие. И сколько таких. Язычников этих новых. Страшно сказать – большинство. А еще страшнее – и среди служителей Церкви и ее иерархов тоже.

* * *

Сегодня как-то страшно и ярко увидел беса неверия... Неверия и атеизма. Этот бес становится бесом повсеместным и повседневным. Самый невидимый бес становится видимым – это во времена уже последние так и должно быть. «Но Сын Человеческий придет найдет ли веру на земле?» Не найдет... Не найдет и в России. Все думал, должен был Спаситель наш указать на это в какой-то притче – не только прямо предупредить. И нашел – в притче о сеятеле... Здесь же все эти атеисты современные и революционеры и то, как они получились, и из кого они вышли... «Вот вышел сеятель сеять...» Бог и сейчас сеет повсеместно в сердца семена веры – и так будет до скончания века. Бог сеет, но... судьба у этих семян – ой-ой-ой, разная... «Иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то». Это про тех, у кого вообще в сердце семечко веры даже не проклюнулось – не успело. Страшно – ибо в России сейчас все чаще. Уже многие родители не воспитывают своих детей в вере – это отстало, считают. Мы, мол, науке доверяем, а не вере... И не допускают семечки веры в сердца своих деток. А дьявол и уносит эти семечки, потому что не понимают их – не приучили разуместь-то их родители. «Ко всякому слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его...» Ужасно и страшно сие – сами родители убивают духовно своих детей... Да-да – направляют своих детей в ад, ибо им некуда больше идти без веры... Как не заплакать при виде всего этого?!.. Одна мамаша так и сказала – читал вчера: нечего детям голову забивать чепухой религиозной... А другой горе-отец: не надо приучать детей к вере – это, мол, насилие. Ребенок вырастет и сам сделает выбор!.. Да как же он, горе-отец этот, не понимает, что он уже сделал выбор за своего ребенка!.. Ибо выбор, сознательный и оправданный, можно сделать только между тем, что хорошо знаешь. Вот ты знаешь безверную жизнь, коею живет уже большинство, и жизнь по вере тоже знаешь – родители тебя к этому приучали по мере сил своих. И тогда – да, ты делаешь сознательный выбор: я с Богом и с верой, или я с миром и безверием. Но если тебя к вере не приучали – как ты сделаешь осознанный выбор? Жизни по вере ты вообще не знаешь, значит, ты выберешь только то, что хорошо знаешь – поэтому выбор уже предопределен. Его за тебя сделал твой горе-папашка, решивший не приучать тебя, ребенка, к вере... Страшно сие, ибо скольких уже обольстила эта ложь: вырастет и сам сделает выбор!.. Какая лукавая ложь, и сколь многих она облукавила!.. А что дальше в притче? Следующее семя – упавшее при местах каменистых. Оно проросло, но завяло... Ой, больно, что-то больно в сердце моем, ибо об Алеше подумал, мальчике моем... Оставлю пока – ибо это его несчастное семя, чувствую это... Третье семя – «иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его». Почти все – да, страшно даже писать это, не то что сказать вслух – почти все, кого вижу приходящими в монастырь, – из этого рода. С заглушенным семечком, с забытым словом. Проросло, но заглохло... И как ясно, почему... Ибо, хоть и слышали слово, но «забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Все заботы их только о земном, вот и в монастыре слышишь только земное: муж пьет, кто-то болеет, корову украли, сарай разворовали, посев потравили, денег не хватает... Главное денег... «Обольщение богатства»... Нет, это тоже больно, но разве Спаситель не предупреждал не привязываться к земному... «Забота века сего» обольщает почти всех. Вот и становятся атеистами. Снаружи верующие, внутри атеисты... В Бога если и веруют, то не доверяют. Ведь Он же Сам сказал: «Не думайте, что вам есть, что пить, во что одеться. Ибо знает Отец ваш Небесный, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде всего Царство Божие, а это все приложится вам». Но они не верят в эти слова – и ищут, и ищут, и ищут сами. И через это искание становятся атеистами. Грустно и больно сие... Итак, два рода атеистов по отношению к посеянному слову. Одних не приучали – они и не уразумели его и стали атеистами. Других приучили, но они

сами заглушили его – и тоже стали атеистами. Атеисты не приученные (или не понимающие) и атеисты заглушенные... Первые – открытые, вторые – прикрытые... Первые все-таки более честные и оправданные. Вторые – хуже, ибо большей частью лицемеры. И ужасно, что их все больше и больше за церковной оградой. И среди монахов и даже среди архиереев. Правда, писал преосвященный Игнатий – преподают Закон Божий и теологию, профессора... А спроси их – они и в Христа-то не веруют...

* * *

И все-таки как не больно сие – надо разобраться с еще одной группой атеистов по притче-то... Самые трагические семечки... Упали на камень, на камень души, значит... «Иное упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро возшло, потому что земля была неглубока. Когда же возшло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло...» Засохло. Но ведь сначала же проросло, значит, был шанс и у этих. Но откуда же взялись эти каменистые почвы, эти души окаменевшие? Не могло это как-то просто так случиться... «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазнится...». Гонений сейчас нет на слово, а вот скорби есть. Они-то и каменят душу. Да – у тех, у кого «нет корня» и кто «непостоянен». Скорби... Какие? Да у всех разные. Родители умерли – скорбь, дети умерли – скорбь, жена или муж умерли – скорбь. Несправедливо поступили в семье или на работе – скорбь... Да, мало ли? Вся жизнь – она же из скорбей и состоит. Они-то, эти скорби и каменят душу... Эх, как важно, чтобы не каменили. Как важно беречь в себе корень веры и быть постоянным. Постоянным, несмотря на ни на какие скорби... Но это возможно только при глубоко укорененной вере. А где же ее взять?.. Вот и соблазняются люди. Вот и становятся атеистами. Это люди со сломленной, или, точнее, засохшей и умершей верой... Алеша мой, боюсь, будет из таких. Вера у него горяча, но неглубока. Пойдут скорби и окаменят почву его души... Не дай, Господи!.. Дай уберечь ему корень своей веры!.. Не дай ему закаменеть душою...

* * *

Все думаю и не могу успокоиться по поводу притчи о сеятеле. Новое пришло понятие, новый образ для современных атеистов. Первые, с семенем, посеянным при дороге – для них Бога нет, потому что и не было. Так как вера никогда не прорастала в их душах, то им кажется, что Бога нет и снаружи, что все это обман. Нет для них Бога, потому что нет его в природе и не было никогда. Все – точка!.. Вторые, те, кто заглушили семя веры в своей душе тернием богатства и житейскими заботами – для них Бог как бы умер... Да, Он был сначала в их душах, но оказался заглушен, как сорняки глушат культурное растение, и оно постепенно погибает. Итак, для этих – Бог был, но умер для них. Они еще делают вид, что Бог есть в их душах – часто и в храмы ходят и в монастырях бывают и молятся порой, но это только форма. Бога уже нет в их душах, там одни житейские, то есть языческие, потребности... Вера умерла в их душах, а значит и умер Бог... И те, что на камне... А они как бы сами убили Бога в себе. Скорбями ли гонениями. Скорбями чаще... Типичный *убийственный* вопрос, вопрос, который убивает веру: *как мог Бог допустить такое зло, если бы Он был?*.. Если бы был Бог, то... И дальше – масса вариантов. Не умер бы кто-то из моих близких... Не страдал бы так жутко я или кто-то из моих близких... Не страдали бы вообще праведные люди... Все это выстрелы по вере. Выстрелы, которые делает сам верующий, ибо стреляет, но не пытается защититься от этих выстрелов, находя ответы на свои «убийственные» вопросы. И тогда эти вопросы, оставшиеся без ответа..., без положительного ответа! – действительно убивают веру. И такой человек, становится атеистом, убив веру, убив Бога в себе. Ибо душа его ожесточается и каменеет, а на каменной почве души, вера произрастать не может. Бог убит... Итак, еще раз – три типа атеистов:

«При дороге...» – Бога нет и не было;

«В терние...» – Бог был, но умер;

«На камне...» – Бог был, но убит...

Но ведь если убит, то может и воскреснуть?.. Я все думаю, какой из трех типов атеистов лучший?.. Если, конечно, есть здесь что-то лучшее. Ведь Христос тоже был убит, но воскрес. Может, для тех, кто сам убил в себе Христа и есть шанс, что Он может воскреснуть в их душах? В их душах – окаменела почва... Но камень – это лучше, чем песок. «Ибо на камени сем воздвигну Церковь мою...» и «из камня потекли потоки воды живой»... Ведь недаром же парадокс: самые горячие атеисты (а это, как правило, люди, сами убившие в себе веру) гораздо ближе к Богу, чем равнодушные к вере, так называемые «теплохладные». «О если бы ты был холоден или горяч!..» Для убивших в себе Бога все-таки есть надежда Его последующего воскресения... Аминь, Господи!..

II

* * *

Революционеры всех мастей: нечаевцы, народовольцы, социалисты, коммунисты – в сущности, суть одно: это люди, убившие в себе веру, убившие в себе Бога, люди с окаменевшей душой, на которой не может произрастать вера. Но это люди горячие, не теплохладные, они близки к Богу, несмотря на то, что убили Его в своих душах... Это есть люди, не выдержавшие, по словам Спасителя, скорби и гонений на веру, гонений, которые произошли от их скорбей... Они страдали и не выдержали своих страданий – эти страдания убили в них веру. Итак, в их душах нет Бога, но вокруг остаются страдающие люди которые не могут оставить равнодушными революционеров. Они уже не могут любить Бога по первой Христовой заповеди: «Возлюби Бога всем сердцем, душею и разумением», ибо тут любить уже некого... Но тем горячее они любят по второй Христовой заповеди: «Возлюби ближнего как самого себя». Сюда, на эту заповедь переместился весь жар их горячих душ. И Господь не может не оценить этого. Это не теплохладные, которым кроме своего брюха ни до чего нет дела. Эти горят – горят муками других людей, и пусть эти муки убили в них веру в Бога, Сам Бог не может не понять их и не оценить их благородства... Убившие Бога лучше тех, кто стоял в стороне, когда Его убивали, – парадокс... Но это так.

* * *

Раз Бог убит – что делать революционерам?.. Во-первых, стать социалистами и коммунистами – то есть объединиться. Был бы Бог жив – Он бы объединял людей в Церкви, но раз Его уже нет – будем объединяться сами. То есть станем братьями не потому что мы дети Божьи, а потому что мы просто люди... Страдающие большей частью люди! И будем любить друг друга... Они не замечают, что сил на взаимную братскую любовь у них не хватит, бедняжкам, ибо без Бога откуда же взять сил любить других людей?.. Но они хотят попробовать и верят, что у них получится... Но ведь благородно же и это. Любить, не имея источника любви!.. Сироты, которые остались без Бога, решили любить друг друга из последних своих сил – да так, что и умирать будут друг за друга, по словам того же Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто душу положит за друзей своих...» И ведь могут же умирать – и умирают уже. Сколько таких в России!.. Сколько их таких уже – повешенных, расстрелянных, забитых палками, закованных в кандалы?.. Возлюбивших до смерти. И сколько еще будет!.. Удивляюсь сему и трепещу... Откуда они взяли силы на такую любовь? Неужели убитый в их душах Бог все равно дает им такую силу? Господь, ты – Любовь!.. И даешь ее даже тем, кто убил Тебя в своей душе!!! Трепещу от мысли сей и боюсь, неужели я прав...

* * *

Все стоны и муки людские, несправедливые и неискупленные, аукнутся и отразятся в учении революционеров. Не простят они особенно стоны детские и слезы детские... Но ведь и Сам Господь этого бы не простил. Он бы обязательно покарал за детские слезинки невинные...

Однако Он мертв для революционеров. Значит?.. Да – все понятно. Будем карать сами. Вот где главная подмена... Какая трагическая и какая понятная!.. Был бы Бог – Он был бы судьей, но если Его уже нет, мы станем на Его место... Бог есть любовь, для Него и смерть – лишь инструмент любви. Смерть и гибель целых народов для Него действительно не проблема. Он уничтожил Содом и Гоморру, ханаанские народы, повелевал разбивать их младенцев о камни. И это все ради любви. Бог имеет план и осуществляет его даже через смерть, которая для Него всего лишь инструмент любви... Но раз Бога нет – теперь это будет практика для революционеров. У них тоже есть план – как защитить бедных от богатых, как утереть детские слезки, и если для этого придется уничтожить целые толпы людей или даже целые народы – не проблема. Смерть – это тоже всего лишь инструмент... В чем ошибка?.. Бог всеведущ и непогрешим, а люди, даже самые мудрейшие из тех же революционеров – всего лишь ограниченные и греховные создания. И потому будут неизбежно ошибаться. Смерть от Бога – это всегда добро и любовь, а вот смерть от людей – практически всегда зло и ужас... Но революционеры все равно будут стремиться помочь страдающим людям, даже рискуя ошибиться, даже несмотря на неизбежные промахи. И в этом все равно есть благородство. Также и в практических их учениях. Евангелие велит: «... у кого две одежды, тот дай неимущему, у кого есть пища, делай то же». Люди должны это делать. Это же Бог велит. А если не делают? А если не хотят давать? Большинство ведь не хотят... И тогда революционеры говорят: возьмем и заберем силой. Заберем и отдадим голодным и холодным, заберем у богатых и отдадим бедным и неимущим. Чтобы хотя бы не плакали голодные и холодные детки... Что это – ошибка? Но ведь благородная ошибка!.. Преступление?.. Да!.. Но ведь благородная ошибка и благородное преступление – ради справедливости же, ради тех же детей... Они мучаются за этих обездоленных. И что им делать? Бога-то нет. Можно было бы сказать деткам: потерпите – Бог воздаст вам за ваши невинные страдания. Но нет никого, никто не искупит их страдания и не отомстит за них. Поэтому будем спасать деток и мстить за них сами – нет никакого другого выхода. Нет – есть другой путь, путь большинства – это равнодушие, это сторонняя теплостыдность. А что мне до каких-то чужих деток?.. У них свои родители есть, да и Бог пусть о них всех заботится... Да – тут и Бога вспомнят лицемерно. О своем брюхе буду сам заботиться, а о других пусть Бог заботится. Но что о таковых говорить?.. А вот революционеры будут сами исправлять мир – мир, в котором больше нет Бога. Взялят на себя эту поистине непосильнейшую задачу – ибо как творение может исправить Творца? Творение может исправить только Творец. Не может глиняный горшок сам себя вытягивать или утолщать или приделывать себе еще одну ручку – не может... Но революционеры будут это делать. Будут делать невозможное. Ибо не вынесут боли и страдания других людей. Мало того, не просто будут исправлять творение – пойдут вообще на невозможное, решатся на революцию. То есть свалят все горшки в один котел, все перемнут в однородную массу и будут сами из себя лепить новые горшки... Невозможность? Невероятность?.. Но ведь так будет!.. К ужасу своему говорю: так будет!.. И мой Алеша может пойти по этому пути... Революционеры будут восполнять правду Бога – это неизбежно, ибо раз Бога нет, кто-то должен восстановить правду в мире. Более того скажу, многие из них будут даже мстить умершему в их душах Богу. Ибо будут чувствовать непосильность и невозможность задачи, которую сами на себя взвалили. Они будут ненавидеть умершего Бога именно за то, что он позволил Себе умереть в их душах и оставил их сиротами и заставил их делать Его работу. То есть решать совершенно невозможную и непосильную для них задачу. Самые глубокие и проницательные из революционеров будут это чувствовать и будут за это мстить Богу. Будут мстить за эту невозможную свободу, которую даровал им Бог, позволив Себе умереть в них. Отсюда и столько крови прольется – столько невинной крови!.. Потому что сначала возненавидят умершего Бога, а затем возненавидят и самих себя за то, что взялись за непосильную задачу, чувствуя, что она для них непосильная. И этим закончат – сначала будут истреблять богатых и несправедливых ради бедных и униженных, потом будут истреблять бедных и уни-

женных, потому что они не стали от этого счастливы, чтобы не видеть в них как в зеркале весь неуспех своей затеи, а закончат – истреблением самих себя, ради... Ради самих себя. Чтобы только избавиться от мучительнейшего чувства вины за все содеянное. Ужас? Ужас!.. А ведь это неизбежно. Настолько неизбежно, что даже не могу молиться против этого... Алеша, мальчик мой, если бы это почувствовал!.. Но не почувствует – знаю это... Упаси его, Господи!..

III

* * *

Ужасаюсь содеянному Каракозовым. Стрелял в царя – хладнокровно, как на охоте... Если бы не Комиссаров, то убил бы. И ни грана раскаяния потом. Даже перед повешением, даже на самом повешении. Он чувствует себя героем и спасителем Отечества. Но не на поле же боя... А здесь – у ворот Летнего сада в Петербурге. Стреляя в безоружного человека и главу этого самого Отечества. До чего же мы дошли? Помутнение!.. Всеобщее помутнение. Такого никогда еще не было на Руси.

* * *

Поразительно, как много и сочувствующих. Но ведь страшна же должна быть сама мысль убийства – убийства не ради денег, не ради пропитания, не ради зависти даже, как Каин... А ради примера. Вот слова в его прокламации «Друзьям-рабочим!», которые этот несчастный Дмитрий распространял накануне покушения. (Говорят, один экземпляр был и у него в кармане при аресте): «Грустно, тяжело мне стало, что... погибает мой любимый народ, и вот я решил уничтожить царя-злодея и самому умереть за свой любезный народ. Удастся мне мой замысел – я умру с мыслью, что смертью своею принес пользу дорогому моему другу – русскому мужику. А не удастся, так все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось – им удастся. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их». Здесь страшно все: каждая строчка и каждое слово. Страшно от убежденности и неизбежности всего написанного. Страшно от этого жуткого пророческого духа. Ведь его пример действительно вдохновит многих. А ведь это неизбежно – он словно предвидел в пророческом духе. Ведь будет так!.. Нет, отложу пока – не могу... Больно и страшно...

* * *

Поразительно, как Каракозов бессознательно, но ужасающе точно воспроизводит всю жуткую в своей таинственности логику своего поступка. «Любимый народ погибает...» Кто за это отвечает – естественно царь. Он не объясняет почему, но ведь это же в таинственнейшей и духовной сути верно. За состояние народа отвечает царь, глава этого народа. Следующий ход его мысли – убить этого «царя-злодея». Разве не естественный вывод? Его должен был бы наказать Бог, но Бога-то нет, значит, накажут люди, а именно он сам возьмет на себя эту провиденциальную роль мстителя за народные бедствия. И он понимает, что идти на это можно только в случае, если сам готов умереть. Это действительно так. Смерть за смерть. Моя смерть за твою смерть. Убиваю только потому, что сам готов умереть. Я и наказание и жертва. Убивая царя, убиваю и себя. По-другому просто быть не может... Это именно жертва. Убийственное и ужасающее самопожертвование... И последнее – уже не просто пророческое, это ясновидение какое-то!.. Как он мог догадаться, что у него это не выйдет, но он станет вдохновляющим примером – как?!.. «...я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути... Для них смерть моя будет примером и вдохновит их...» Как?!.. Как он мог это предугадать?.. Теряюсь и трепещу...

* * *

И снова Каракозов этот убиенный не дает покоя. Больно, но нужно разбираться. Царь – это глава народа, глава народного тела. Да, царство – это живой организм, это не демократия – мертвый механизм, основанный на механическом подсчете голосов, это живое, где царь есть голова этого организма. Не случайно: Бог часто наказывал народы через их царей или наоборот:

за грехи царя – наказывал народы. Царь Давид – яркий пример... Сколько раз Израильский народ страдал за его грехи!.. А и правда, разве тело не будет страдать за грехи головы, разве оно не расплачивается на глупые и греховные поступки, удуманные головой? И то же обратно – если болеет тело, разве голова не страдает иже с ним? Страдает и мучится, если не может придумать, как излечить тело... Итак, связка понятна: народ – тело, царь – голова этого тела. Каракозов, стреляя в царя, вознамерился убить и тело... Хотел он этого или не хотел – но это по факту так. Ибо простреленная голова умирает вместе с телом. Итак, целя в царя, Каракозов вознамерился убить Россию, убить русский народ. Как не содрогнуться при мысли сей?..

* * *

А ведь нечто подобное уже произошло в истории. Христос – это Тот, через Которого весь этот мир был создан, это глава этого мира: да – живой мир и его голова – Христос. И люди распяли Христа, то есть убили свою голову, то есть совершили самоубийство. Это можно сравнить – как если бы какой-то сумасшедший, решивший покончить жизнь свою, разбежался и размозжил себе голову о каменную стену. Фактически, в духовном смысле, почти две тысячи лет тому назад человечество прекратило свое существование, убив Христа, убило самое себя, совершило самоубийство. Но что же произошло дальше? Христос воскрес... И теперь стал главой Церкви. То есть главой духовно воскрешенных Им через веру людей. Значит, есть огромное мертвое человечество, фактически совокупный человеческий труп, который уже разлагается вторую тысячу лет, и в нем – воскрешенные люди... (...Червячки и козявочки, которые завелись в этом трупе?.. Нет, личинки... Личинки, скажем, бабочек, которые со временем и станут настоящими бабочками...) Да, среди моря ходящих мертвецов – только немногие живые... И ведь это не красное словцо. Сам Спаситель сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Он ясно и недвусмысленно назвал неверующих людей мертвецами... Христиане – немногие живые среди всех человеческих мертвецов.

* * *

Но вернусь к Каракозову. (Каракозов, Карамазов... Господи, что за странная перекличка фамилий?.. И в моем мальчике есть это – тоже черное...) Итак, революционеры, убивая царя, убивают и народ. Допустим, им это удастся... (Упаси, Господи!.. Ибо трепещу, но чувствую, что удастся – уже удастся, ибо в России слишком многое уже помутилось и сдвинулось с места...) Что же будет? Голова убита, а значит, и народ умер... И что?.. Теперь нужно воскресить мертвое тело? Как?.. Это может сделать только Бог. Но Бога нет, Бог тоже убит... Значит, будут воскрешать народ сами. И есть способ – это революция!.. Единственный способ воскресить умерший после смерти головы народ – всеобщая социальная революция!.. Да, смять все человеческие горшки в глину и налепить из нее новые горшки. Ведь это человеческий способ воскрешения, несовершенный, сопряженный с морями крови, но единственный способ, если Бога нет... Более того – способ, дерзающий даже оспорить могущество самого Бога. Ибо Христос после того как восстал Сам, воскресил только весьма немногих христиан (говорим об истинных христианах, а не о христианских язычниках), а революционеры дерзают воскресить – ну, если не всех, то большинство. Уничтожению подлежат только те группы и классы, которые на захотят воскресать по-революционному, предпочтут умирать вместе с убитой главой... Их кровь – это неизбежная и необходимая даже жертва на алтарь революции, на алтарь мистерии народного воскрешения... Революционеры участвуют в невиданной мировой мистерии – мистерии воскрешения умершего народа руками человеческими – не Божией властью, но волею самих людей... Ужасно и страшно сие! И ведь будет...

Это была последняя и как бы недоконченная запись в тетрадке, все записи в которой были без каких-либо дат – просто записанные однажды мысли. Алеша взглянул за окно, где вновь, хотя уже и не так резво, по темнеющему саду пробежал Шьен. Перечитывая неоднократно эту тетрадку, он уже почти точно мог сказать, какие мысли произвели на него особое

влияние. Вот и сейчас, когда он читал, на каком-то внутреннем плане его души вставали пережитые им памятные и поворотные события: как он, уйдя из монастыря, рыдал, обнимая землю, как душевно мучился со всеми событиями, связанными с завещанием отца и его перезахоронением, как уже в губернской столице познакомился с «настоящими революционерами», как ужасался и ожесточался, наблюдая злоупотребления при строительстве железной дороги, как Катерина Ивановна установила прямую связь с петербургской «Народной волей»...

И один, словно поворотный момент, так потрясший всю их еще первоначально «мягкую» организацию «русских мальчиков», вырвавший из нее первых членов и заставивший измениться внутренне его, их лидера и духовного наставника, когда он сам понял, что революционный путь для него и для всех отныне неизбежен. Это случилось на шестой год после смерти Илюши, когда Карташова Владимира, к этому времени учившегося в губернском железнодорожном институте, по чьему-то доносу у нас летом во время каникул, схватила полиция. И вот некий жандармский полковник Курсулов приехал на «разбирательство». Тогда мать Карташова (к этому времени уже вдова), болезненная нервная женщина, с младшей сестрой ее любимого «Володеньки», 14-летней Оленькой, пришла просить за своего сына. Сестру взяла, видимо, для смягчения сердца этого «опричника», но оказалось, что на растерзание. Ибо это «чудовище» и «тварь» – другие слова трудно подобрать – надругалось над ней прямо в полицейском участке, говорят, чуть не на глазах полубоморочной матери. Обезумевшая мать попыталась найти управу на этого «сатрапа» у нас в монастыре, когда после службы (Алеша сам этому был свидетелем) закричала в Троицком храме на глазах монахов и игумена Паисия: мол, помогите, люди добрые – неужто совсем нет правды на свете (это ее прямые слова). Неужто земля это вынесет и в духовной обители ей не помогут... Рассказала прилюдно, что сделал этот урод, как надругался над ее дочерью – но... Но все промолчали... Стояли, растерянно уткнув глаза в пол, в тоскливом как бы недоумении, когда она остановится... Она же воззвала к памяти преподобного Зосимы Милостивого – призвала и его заступиться, раз живые молчат... Но тут сам этот полковник уже рассмеялся: мол, что слушают безумную, а «провонявшие на смертном одре монахи» (это тоже его доподлинные слова) – ей не помощники... Тут уже захлебывающуюся слезами женщину вывели из храма сами монахи. А та потом и тронулась умом, когда выяснилось, что ее несчастная дочка заносила ребенка от этого зверя в человеческом образе. И навсегда уже попала в психиатрическую лечебницу, а Оля тоже куда-то исчезла из нашего города. Утешались вестью, что ее забрали, какие-то дальние родственники, но доподлинно никто ничего не знал. Алеша действительно испытал потрясение от всего этого, и тогда же на собрании «организации» впервые было принято решение о мести – «устранении» этого полковника. Задачу взялся выполнить друг Карташова Володи, еще один их «русский мальчик», Боровиков Валентин, «Валюха», как его называли, – но это была ужасная и роковая ошибка. Ибо импульсивный и подверженный мстительному порыву, он не смог выждать подходящий момент, начал стрелять раньше времени и был убит на месте. Это была уже вторая потеря организации, так как Карташова Курсулов сгноил еще на этапе предварительного следствия. Он умер в тюрьме при непонятных обстоятельствах. По слухам его просто замучили. Но он так и никого не выдал. Красоткин, который кроме того, что сочинял стихи, еще и неплохо играл на гитаре, тогда посвятил ему песню с такими словами:

Еще один испытанный боец,
Чей лозунг был: отчизна и свобода,
Еще один защитник прав народа
Себе нашел безвременный конец!

Он был из тех, кто твердою стопой
Привык идти во имя убеждения;
И сердца жар и чистые стремленья

Он уберег средь пошлости людской.

Он не склонял пред силою чела
И правде лишь служил неколебимо...
И верил он, что скоро край родимый
С себя стряхнет оковы лжи и зла...

В наш грустный век, на подвиги скупой,
Хвала тому, кто избрал путь суровый...
Хвала тому, кто знамя жизни новой
Умел нести бестрепетной рукой.

А в самой «организации» после всех этих страшных потерь «русских мальчиков» был окончательно взят курс «на революцию» путем террора и были приняты меры к повышению уровня конспирации и ужесточению, как это называлось «идеологического единства». Главным образом по отношению к христианской вере и Церкви, как организации, ее хранящей и выражающей. «Соглашательская» и «охранительная» роль Церкви по отношению к царскому режиму была ясна и прежде, но никогда она так явно не «резала глаз» как во время «дела Карташова». Если раньше отношение к вере и церковным учреждениям были личным делом каждого из революционеров, то теперь вопрос был поставлен ребром: или – или! Нужно было порвать с этим «наследием прошлого» бесповоротно и окончательно. Много было дискуссий внутри организации на этот счет, но «окончательное» решение было принято и здесь – никаких внутренних компромиссов с верой и Церковью. Бога нет – все! Вопрос решен. Только для конспирации, чтобы не выдать себя выделением из общей массы, можно было принимать участие в каких-либо церковных обрядах и таинствах. На такое ужесточение немедленно отреагировала и муза Красоткина. Вот такая песня (это даже не песня – баллада целая!) была им спета (на свои ли стихи или еще кого-то) во время прошлогоднего праздника Пасхи:

Нам говорят: «Христос воскрес»,
И сонмы ангелов с небес,
Святого полны умиленья,
Поют о дне освобожденья,
Поют осьмнадцать уж веков,
Что с Богом истина, любовь
Победоносно вышла с гроба.
Пристыжена людская злоба!
Что не посмеет фарисей
Рукою дерзкою своей
Теперь тернового венца
Надеть на голову Христа.

И больше тысячи уж лет
Как эту песню вторит свет,
Как он приходит в умиление,
Что фарисеев ухищренья,
Тупая ненависть врагов
В союзе с пошлостью рабов,
Хитро расставленные ковы –
Могучее, живое Слово
Все победило, все разбило,

И над Вселенной воцарило
Любви и истины закон!..

Но отчего ж со всех сторон
Я слышу вопли и рыдания?
Но отчего ж везде страдания,
Везде рабы и угнетенье,
К законам разума презрение
Я вижу в милом мне краю?
И за какую же вину
Он осужден... и навсегда
Под тяжким бременем креста
Позорно дни свои влачить,
Без права даже говорить
О том, как много он страдает,
Как много жизни пропадает
Под игом грубого насилия,
Томяся собственным бессильем,
Как на родных его полях,
Как в темных, смрадных рудниках,
Как за лопатой, за сохой
В дугу с согнутою спиной,
Под тяжким бременем оков
Страдают тысячи рабов!
Так где ж любовь и где свобода?
Ужель среди того народа,
Которым правят палачи,
Который в собственной земле
Находит только лишь могилы.
Где схронены живые силы
Не одного уж поколения!
Так нам ли славить воскресенье?..

Нет, не смирение, не любовь
Освободят нас от оков,
Теперь нам надобен топор,
Нам нужен нож – чтоб свой позор
Смыть кровью царской!.. Для того
Мы будем рушить, рушить все,
Не пощадим мы ничего!
Что было создано веками,
Мы сломим мощными руками
И грязью в идол ваш священный
Рукою бросим дерзновенной!
Мы сроем церковь и дворец,
Пусть с рабством будет и конец
Всему отжившему, гнилому,
Пусть место новому, живому
Очистит наше разрушение,

Зачем же петь о воскресеньи?

Все упомянутые выше события вместе с отрывками из «песен Красоткина» произвольно одно за другим всплывали в мозгу у Алеши. И следом – особенно ярко, собственно, и не отпускало его – сегодняшние события в монастыре, это монастырское побоище. Оно вспыхивало в его мозгу отдельными вспышками, и затем «сочилось» мучительными ощущениями, как некая последняя капля, капля чего-то горячего и в то же время твердого и безжалостного, капля тягучего раствора, окончательно зацементировавшая душу.

II

сходка

Вечерело. Пора было идти на сходку, о которой ему напомнила Катерина Ивановна. Сходкой называлось экстренное собрание революционеров накануне решающих «эксцессов» (тоже революционный термин – еще употреблялся термин «эксы»). Такие экстренные сборы могли быть проведены и «по требованию» любого из членов «пятерки», для чего нужно было выставить «оповещение». Тут была своя система: тот, по чьей инициативе проводилась сходка, должен был повернуть условленный «вестовой кирпич», находившийся в ограде вокруг нашего центрального городского собора на площади. Сама ограда была уже довольно ветхой – толстая побелка со многих кирпичей уже сползла и отвалилась, на других еще частью висела, а некоторые кирпичики так и просто уже выпадали или легко двигались в этой ограде. Вот и было условлено, что в крайней стойке угловой ограды легко вытаскивающийся кирпич и будет «вестовым». Обычное его положение было побелкой наружу, но если тот, кто инициировал сходку, поворачивал его наружу внутренней «красной» стороной – это означало экстренный сбор. Рядом кирпичи были частью белые, частью красные – так что внешне ничего не бросалось в глаза. Единственно, перемена положения «вестового» кирпича должна была проводиться по условиям конспирации ночью – и тогда, первый, кто из «пятерки» видел его (а через площадь, как правило, кто-то из революционеров раз в день проходил), должен был «продублировать» этот сигнал еще и личным оповещением. Что и сделала Катерина Ивановна, напомнив после сцены у Грушеньки Алеше о сборе.

Выходя за ворота дома и отпихнув ногой увязавшегося за ним Шьена, Алеша произвольно взглянул на окно Lise. Окно было темным – она, видимо, еще спала, – и это каким-то странным образом и нехорошо кольнуло Алешу в сердце. Необъяснимо почему. Вся эта история с Лизкой и внезапными претензиями Марии Кондратьевны и так висела у него на душе неизгладимым тяжелым впечатлением. Как Алеша относился к Лизке – он и сам себе с трудом мог объяснить. Жалеть – жалел, но полюбить как дочь, хотя бы даже и приемную... Нет, не мог. Если Lise ужасали по мере взросления некоторые действительно пугающие проявления Лизки, то Алешу они наоборот еще больше притягивали и привязывали к ней. Но тут была тугая связь какого-то другого рода. Какая-то необходимость, словно неоплаченный долг. И еще что-то темное, необъяснимое и мерзкое, в чем Алеша вряд ли мог себе признать до конца. Ее похотливость имела заряд такой ужасающей силы, что порой «цепляла» и его. Это невозможно было победить, но с этим можно было бороться. Надо сказать, что и Алешина связь с Грушенькой отчасти и объясняется этой борьбой – как бы от противоположного. Еще до женитьбы Алеша договорился с Lise, что они будут жить «как брат и сестра». В этом не было ничего слишком удивительного, так как Алеша свято помнил слова старца: «в миру будешь как инок» – он воспринял эти слова именно в этом смысле. И они действительно так жили, и даже особо не тяготились этим, пока в их доме не повзрослела Лизка. Та чем дальше, тем больше заряжала их дом томительной плотской истомой – это ощущали все живущие в доме. Даже Марфа Игнатьевна и та однажды по-простому жаловалась Lise, что не может понять, откуда у девочки такие «гадкие и заразительные хотялки». И срыв с Грушенькой – а это действительно был именно «срыв», ибо

Алеша ничего не планировал заранее – отчасти связан с бессознательным желанием Алеши убежать от этого невозможного положения. (Хотя, к слову добавим, помимо Грушеньки были и другие и даже вполне сознательные «срывы».) Но к ужасу Алеши оказалось, что его связь с Грушенькой ничего не изменила, а как бы даже и усугубила положение...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.